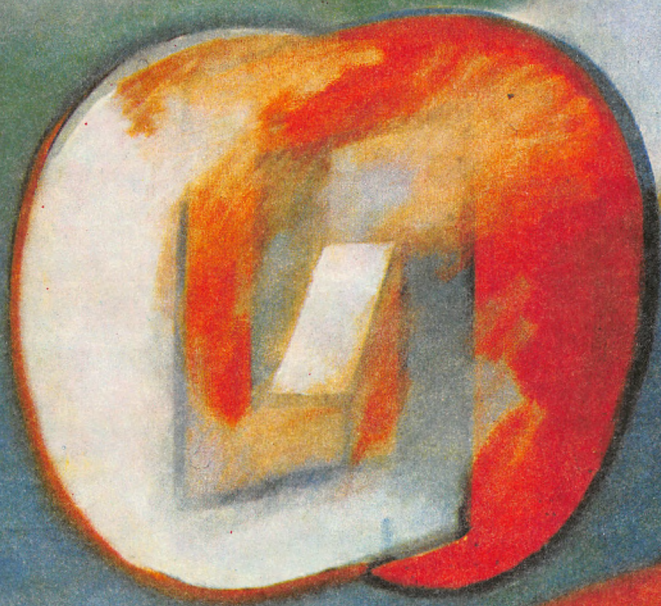


*Дмитрий Бобышев*

**РУССКИЕ ТЕРЦИНЫ**

**И ДРУГИЕ  
СТИХОТВОРЕНИЯ**



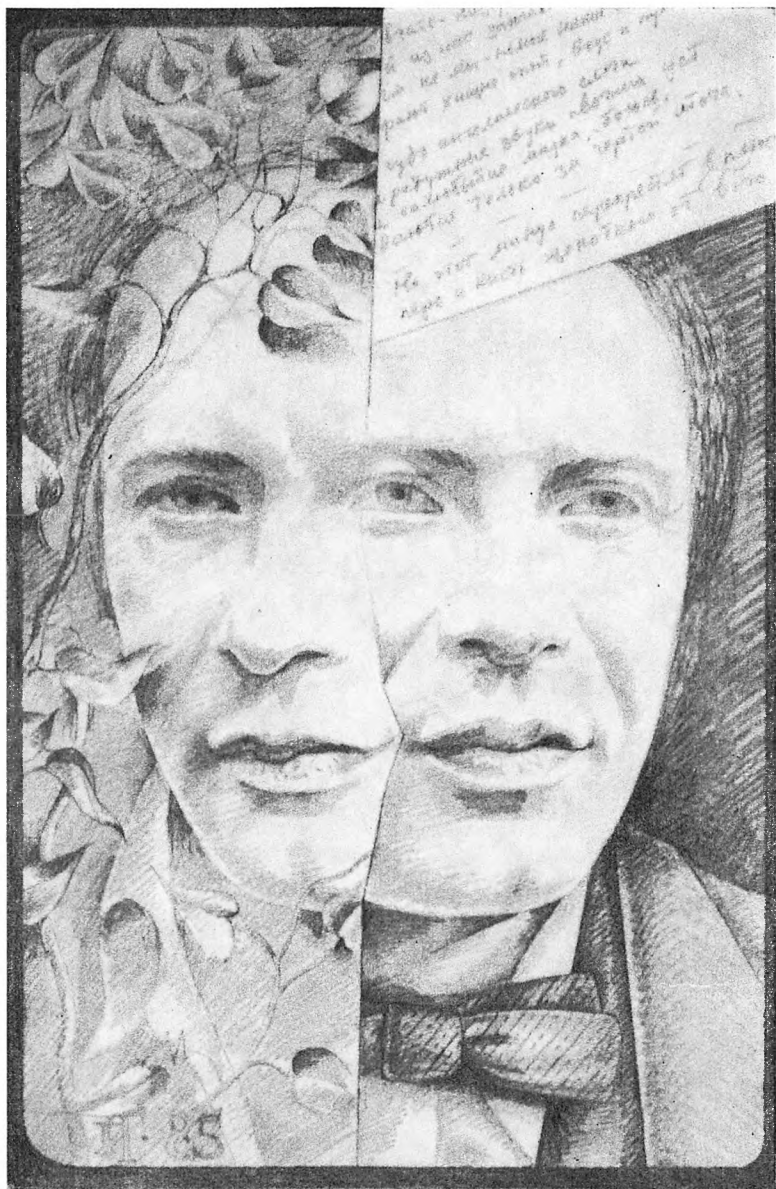
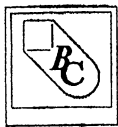


Рисунок Игоря Тюльпанова

*Дмитрий Бобышев*

**РУССКИЕ ТЕРЦИНЫ**

*И ДРУГИЕ  
СТИХОТВОРЕНИЯ*



Книгоиздательство  
«ВСЕМИРНОЕ СЛОВО»  
1992

ББК

**Дмитрий Бобышев. Русские терцины и другие стихотворения.** — СПб.: Книгоиздательство «Всемирное слово» 1992, 112 стр.

В 1991 году после многих лет эмиграции русский поэт Дмитрий Бобышев побывал в родном Петербурге. Циклы его новых стихотворений были напечатаны в журналах «Знамя» (1991, № 9), «Звезда» (1992, № 7). «Всемирное слово» (1992, № 3, 4) и др. Книга Дмитрия Бобышева «Русские терцины» и другие стихотворения» — первое отдельное издание произведений поэта, выпущенное на родине в России.

Художественное оформление Валерия Бабанова

*На обложке репродукция картины В. Бабанова «Яблоко»*

*На обороте обложки портрет Дмитрия Бобышева  
(художник Игорь Тюльпанов)*

*Дмитрий Бобышев*

**РУССКИЕ ТЕРЦИНЫ  
И ДРУГИЕ  
СТИХОТВОРЕНИЯ**

Редактор *Л. А. Николаева*  
Художник *В. В. Бабанов*  
Технический редактор *Т. И. Кий*  
Корректор *А. А. Тимофеев*  
Ответственный за издание *Г. А. Мачинцев*

Сдано в набор 25.08.92. Подписано к печати 07.12.92. Формат 60 × 84/16.  
Бум. типогр. Печать высокая. Усл. п. л. 7. Уч.-изд. л. 3.5. Тираж 2500 экз.  
Заказ № 190. Книгоиздательство «Всемирное слово», 191187, Санкт-Петербург,  
ул. Шпалерная, 18.

Ордена Трудового Красного Знамени ГП «Техническая книга», типография № 8  
Мининформпечати РФ. 190000, г. Санкт-Петербург, Прачечный пер., д. 6.

ISBN—5-86442-005-0

© Составление, книгоиздательство «Всемирное слово»

© Оформление В. В. Бабанова

# КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРЖСКАЯ

*Юрию Иваску*

## 1.

Ну, что с того, что пил?  
Зато как пел «Блаженства»!  
Из плоти искресах конечны совершенства

и кроткия жены изрядно поучах. . .  
Что стало из того, что сей Никто исчах?

А то и вышло, что из Ада мрачной сени  
восхитила его любви блаженной Ксеньи.

Коль с мужем плоть одна у вдовья жены,  
чем плохи мужнины кафтанец и штаны?

— Ах, светелко супруг, я — ты, я — ты, я телом —  
лампадка масляна; тебе во мне затеплим.

— Ты — это я, ты — я (и крестится скорей),  
мой милый баринок, я нарекусь: Андрей.

И молится (язык да не прильпе к гортани):  
— Благословивая брак в Галилейской Канел!

— Простри же, Чюдная, на этот брак — Покров. . .  
Полковник баба — я, я — певчая Петров!

## 2.

И, нищелюбая, бредет она, раздавши,  
да что имение? саму себя и даже

горазнее того. . . — с просвиркой поутру,  
и хвалит Господа за — в башмаке дыру.

Морозец искрится; свет позлащает резко  
снег между кирпичей, меж бочек свинорецкой

и сяжской извести, меж хохотов и крикс. . .  
Толпа и гвардия. «Виват, императрикс!»

И ангелы плетут золотые канители.  
— Ах, не спугните их. Ах, вот и улетели!

Ухватки ихние лишь Ксении видны:  
— Что, люди русские? Пеките-ка блины!

— Да ведь не масленица. Да окстись ты, Ксения!  
А тут Елисавет почила к Воскресенью...

За Ксенины блины, что знала наперед,  
скорей, чем за любовь, любил ее народ

с поминок царских и —

### 3.

...И вдруг прошло два века.  
Стоит на кладбище Смоленском склеп-калека,

на «ладанки на грудь» растащен, а — стоит.  
Не склеп — часовня. Нет, и не часовня — скит,

поскольку Божия не сякнет здесь работа!  
«Святая Ксения, избави от аборта», —

наскрябана мольба. И дата — наши дни.  
«Сдать на механика позволь». «Оборони» —

Здесь — гривенник в щели. А там — пятиалтынный.  
— «от зла завистников...» «Дай преуспеть в латыни».

И — даты стертые. «Споспешествуй в пути...»  
И — «Отведи навет...» И — «Виноват, прости!»

И — «Благодарствую». И — «Слава в вышних Богу».  
Христоблаженную, хлопочущу о многу,

о теплой мелочи и о слезе людской,  
ее бы помянуть саму за упокой,

горяще-таящую истово и яро...  
Я помолился лишь «о нелишеньи дара».

*Нью-Йорк, авг. 1980*

## СПБ

Это ли не город-ключ  
Первозванного Петра?  
Ангела пята с утра  
опирается о луч. . .

Вызолотя высь иглой,  
здесь воцерковляет шпич  
государственных гробниц  
тяжко ограненный строй.

Это ли не побратим  
твой, что над Невой навис,  
мысля головою вниз,  
горний Иерусалим?

Разум, что линейно-крив,  
здесь его взяли. И что ж?  
Видно, распрямил чертеж  
Духа золотой извив.

Это ли не в твой указ,  
Спасе золотой, пальбой  
половиним день любой,  
звонко четвертуем час?

Слышите? Курант! Курант!  
Циркулем для умных мук  
человек распят на круг,  
вписан в звездной квадрат

кронверка. И — равно — над  
храмом и тюрьмой (у нас,  
вольно-крепостных, всё враз!)  
слезно преломился взгляд. . .

Шпиль! И — двунебесна цель:  
то ли восклицает знак  
царское: «Да будет так!»,  
ангельский ли возглас: «Эль!»?

Господи! Какой провал  
дико перевернут вверх,  
чтобы и на третий век  
граней пересверк сиял.

Видно, что молельщик есть  
крепкий на святом посту:  
воин ледяной в скиту  
тихо сотворяет крест.

Ангел да корабль горят  
в скважинах небесных круч...  
Это ли не город-ключ?  
Только от каких оград?

*Петроградская сторона,  
1979*

## ПРОПИСИ

«Мрак то бархатен, то лаков», —  
нежная, уже видна  
не строка и не жена  
фразу из полужнаков,

полуотсветов; она  
яснится, двоясь. Однако  
с бликом облик одинаков,  
явленная нам — одна.

(Заново, того не зная,  
мысль мою вочла в себя  
чуткая, совсем ничья,  
умница, красавка злая —

чудом). И при чем тут я!  
(Разве что, высвобождая,  
я ее отъял от края  
радужного бытия).

Вылистнула здесь, расклята,  
райская страница две  
прописи: «Люби и верь».  
Выкатила в жизнь покато



яблочной ланитой весть  
(Божия, ей-ей, цитата).  
Ведайте ее, читайте  
замысел певучий весь!

В прорези никак не взглянет —  
вскользь или в уклон слегка;  
только в уголку белка  
дико ослепляет глянец.

Тень, зубчато-глубока,  
тонет в нем и, с ним играясь,  
гладами туманит грани. . .  
Жарок оком зрачка.

Вечное с минутным обок  
(«верить и любить») легло,  
окороновав чело  
венчиком кавык и скобок. . .

(Видимо, сперва сошло  
яркое перо от облак:  
лунно-перламутров облик,  
вписанный затем в гало).

И — во взгляде — взгляд! И сполох  
тихо полыхнул впотьмах,  
выблеснул во всех углах  
глаз — полудуховный порох.

И, что от листа враспах  
тянется — туда — к воспорху  
пташию, в воронках полых  
буков отряхая прах, —

вымахал прозрачный взмах, —  
пусть и не в самих глаголах —  
метой ногтевой на голых,  
белых и живых полях.

*Петроградская сторона, янв. 1978*

## ПЕРО И КИСТЬ

Возьми шепоть от Бога, и тогда-то  
в честном овале, в черепном яйце  
напечатлеешь, осодишь лице,  
и крест на нем проступит брусковато,

как бы ни миловиден был раскрой.  
Но — чуть — и троеперстие разъято.  
Меж двух — уже зияние (гиата):  
отсыновлен от большего второй,

а среднему они опора оба.  
Орудие художества, пароль  
еще не выбрав: кисть или перо,  
тому свершилась перьевая проба. . .

И чем иным бы выписалась кисть,  
когда б не геральдически-особо  
(и только ли, как водится, до гроба?)  
они перекрестились и сошлись!

Здесь дружная спружинила интрига,  
и цветовой удар ввергает в криз:  
по склону промуравленному вниз  
упруго кувыркаяющийся тигр.

И пиршество среди густых куртин,  
где неподвижно безуханны игры  
тюльпанов огнецветных! Это — Игорь  
Тюльпанов у распахнутых картин.

Предметов благодарственные очи  
горят повсюду. Все же он один  
среди замыслов, слуга и господин,  
слуга и господин своих отточий. . .

Один, — на сходе выверенных тайн, —  
казнит и красит миг живой, проточный. . .  
В подробностях древооточащей порчи  
умильно просит каждая деталь

у кисти: — Будь и в прочном — быстротечной!  
Выпаливая в лёт павлиньих стай,  
стань пристальной, поди пересчитай  
свинцовые зазубрины картечин.

В напластованья отрешенных глаз,  
в с атласом перламутровые встречи  
впиши отливы, тем хмельней и терпче,  
что синева по золоту прошла.

Но там, где цвет идет на свет, на трепет,  
пожалуй, даже кисть дает отказ...  
И только зоркое перо, кружась,  
жизнь самое на тех полях затеплит.

Тепло касаясь, пузырьковый мыс  
листу на загрунтованные степи  
сквозь лона перепонки в полом стебле  
передает, предписывает мысль.

Навершие парит, себя наведши  
и плоское вперя око ввысь.  
Здесь как ни изумрудно изумись,  
древнейшее становится новейшим,

расплывчато-лазоревым. Но пусть  
любой из нас заплакан и не вечен.  
Живем не мы, — немые наши вещи  
вбирают хищно опыт, вкус и пульс.

А чудо ангелического слога  
и радужные звуки свежих уст,  
и самобытие мазка, боюсь,  
даются только за чертой итога.  
. . . . .

Но этот минус перекрестят в плюс  
перо и кисть щепоткою от Бога.

*Петроградская сторона, февр. 1978*

## ПРИВАЛ ИНТЕЛЛИГЕНТОВ

Сквозь редкие осечки да седины  
следя свой облик, зеркалом сердимый,  
земную жизнь пройдя за середину

и находясь вполне среди своих,  
не убоимся, именитый стих  
друзьям примерив, сим утешить их.

Когда из inferнальных долины  
через пахотных полос, терновых линий,  
освобождаясь от отнюдь не пиний,

отнюдь не пиний, но осин да пихт,  
уже не слыша окриков тупых  
прожекторных топтыг-неторопыг, —

поэту, погубляемому речью  
(феномен как типический отмечу),  
проделали они свой путь навстречу,

тогда случился общий передых  
для всех для них, усталых. Впереди  
ему еще осталось перейти

туда, через нее, наиострейшу  
и самую бездонную из трещин,  
перед которой равно все трепещем,

а им пригубить жизнь, наоборот,  
в дальнейшем предстояло. . . Соберет  
хозяйюшка на стол; забудем торт

за решкою съедобных поперечин!  
Ее пирог хорош, не переперчен.  
Под это дело выпить нам теперь же!

И — по второй! Под знаменитый тот  
тост № 2 «За тех, кто там», кто ждет  
отметить, может быть, и наш черед. . .

Скорее — закусь! Сладостная пытка —  
тушить огонь надежного напитка,  
по жилам расскакавшегося прытко,

горячим борщом, палящим рот,  
и пряным жиром, что, скворча, течет...  
Пусть в лавках ни черта. Двойной почет

хозяйке. И — за видимость избытка,  
и — за нее саму! И не забыта  
полудуша, любимица пиита.

За то залетной умнице хвала,  
что только половину увезла.  
Пока. Вот и бутылку спрехвала

(добро бы кто другой, но мы-то, мы-то,  
интеллигенты, соль земли, элита!)  
приговорили. Видимо, омыта

Россия водкой. Но не добела.  
Склонясь лицом до уровня стола —  
...Меж тем рука по чашкам разлила...

— страна скользит к подстольной катастрофе.  
...четверократ подорожавший кофе.  
Вениамин и Лидия Иофе!

Вы балуете гостя, столь воспла-  
менённого, что чуть, и он — до тла...  
Но, други, нет, натянем удила!

А если что и есть в заветном штофе,  
к тому припасу повернемся в профиль;  
мы лучше мысль, как по весне картофель,

в российской почве крупно заклубим.  
Есть опыт счастья, если кто любим.  
И опыт боли из таких глубин,

откуда выбираться по-кротовьи.  
В земельной тьме, в полуболотном торфе  
войти с огнем в смешение крутое —

вода и воздух наготове. Им,  
стихиям нашим, да и нам самим  
для вящей полноты необходим

и опыт этих опытов... И — опыт  
в одном пути сплести все петли, тропы...  
А, кстати, и пора... Судьба торопит!

Мы забуримся или мы взорлим?  
И сладок отдых, да не вечно длим;  
И много входов с выходом одним...

Рок — не запрограммированный робот,  
но чуткий, мощный зверь. Забывши робость,  
как весело порой его потрогать!

Он тянет лапу... Гляньте!.. Острит коготь!  
*Петроградская сторона, окт. 1979*

## ЗЕРКАЛЬНО

Вдруг — двух из мимоходных толп  
как будто заарканит,  
и — вправо парный шаг, и — стоп! —  
и влево, и фронтально в лоб,  
и оба — столь зеркальны!

Мимически двоится миг  
здесь, на развязке улиц,  
и — паника: да кто ж из них  
есть подлинник и кто — двойник?  
— Но — сдвиг — и разминулись...

Ну, и... Нет, как я только мог!  
Те — стакнулись... И — что же?  
Им не уйти из этих строк,  
и даже так: на то намек  
да будет уничтожен!

Прыжок другого — в друга: пли!  
Двойник в оригинала  
летит; и вот уже сожгли  
попятности и корабли,  
и все им пресно, мало...

Игра? Но — на краю... Какую  
в лицо лизнул и снится;  
и леденеет грудь; и вдруг,  
перешагнувши перепуг,  
идет близнец к близнице.

И — блещет мгла! Цветет и пьет,  
и губит губы англо-  
язычный и залетный рот,  
и ангельски, и, нет, взаглот  
целует долго, нагло...

А между тем и клят и крут,  
не быв помянут к ночи,  
их обстоятельств перепут...  
Но зодиаки в них текут  
сквозь мозг и позвоночник!

О братья рук! И рыбы ног  
в бурунах дельной лени!  
Им — годен юг. А тем — восток,  
где в головах и между строк —  
дух единений, гений,

чей лик впечатан до конца —  
лицо лица — в их лица.  
Но оба — обликом — в Отца!  
Резвятся львятами сердца:  
— Терзай, любя, сестрица...

*Петроградская сторона,  
авг. 1978*

## ДЕРЖИСЬ МЕНЯ

Пока молчат разрытые глубины,  
я дам слова, а ты, что прореку,  
все повтори за мной: «Ты мой любимый.  
Я — кровь твоя. Сквозь сердце я теку.

Я омываю дни твои и мысли.  
И там, где недра дыбятся, как высь,  
где в ядрах мрака яркий свет явился,  
там жизни наши до смерти срослись».

Свои слова твоими я услышу,  
и в этой отзеркаленной любви  
я сам скажу: «Твой — с погреба по крышу.  
Куда еще идти? Во мне живи.

Не подрывай, крепи живую крепость,  
покуда вместе нас не загребет  
зазубренным ковшом — в загробный эпос.  
Держись меня. Я — череп и хребет».

*Петроградская сторона, 1978*



# **ЗВЕЗДЫ И ПОЛОСЫ**

*Посвящаются О. С.-Б.*

## **1. ПОЛОСА ОЗЁРНАЯ**

От массивного синего  
до совсем невесомого серого —  
все тона водяной окоем  
затопил переливную зеленью селезня.

Полоснул серебром через весь  
пересвет с полуюга до севера,  
с краю искру нанес,  
распустил паруса посреди  
неохватного зеркала-сверкала...  
Средиземно раскинулся —  
на океан —  
Мичиган.

А бывает и розово озеро.

## **2. ТОТ СВЕТ...**

...куда пути непоправимы.  
Где то звезда, то снова полоса.  
Грядущего нарядные руины,  
лириодендроны, бурундуки, равнины...  
И — галактические небеса.  
И — механические херувимы.

И — ты. По вавилонам барахла,  
живой, идешь, хотя отпет и пропит,  
свой поминальный хлеб распопола-,  
где палестинам снеди несть числа...  
Делясь, ты половиניшь вкус и опыт  
по зарослям дерев Добра и Зла.

Да, ты — туда ж — с утопией великой,  
с ужасною, как тот кровавый хлеб,  
духовностью! Ты встречен будешь в пику  
улыбкою тончайшей, поелику  
здесь души не давались на зацеп  
десятка двух «единственных религий».

И — каждая — для них за то не та,  
что к счастью стыдному отнюдь не доступ.  
(Единственность — язвима я пята.)  
Тоталитарна только пестрота,  
и абсолютны сдобные удобства, —  
в них даже грязь охранна и чиста.

Учись на всем.

И слушай содроганья  
(бутылочная сыплется гора)  
и рев зеленоводного органа.  
По небу письма над Ниагарой  
цветут, опять УДОБСТВА предлагая...  
Горит закат огромно и угарно.  
Горячих красок хладная игра.  
Тот свет. И мы живые, дорогая.

### 3. ЗВЕЗДА

Какая яркая — огня и льда слиянья,  
и — силится внушить пульсирующий знак!  
Я мог его понять, но только сам сияя,  
сияя, — что давно и далеко не так.

А виделось: горит в селеньях занебесных  
оконная свеча в покое, где ночлег.  
Последний перегон, и мысль истаёт в безднах...  
И все же не совсем, — так верит человек.

Но ежели вблизи мерцания и света  
на месте мировом откроется дыра  
и слижет огонек, — примите весть, что это  
кому-то на покой в той горнице пора.

Какая яркая, какая ледяная  
и вечная. . . Хотя — вся вечность: до зари.  
Мгновения мои в себе соединяя,  
вот — и сорвется луч. Я говорю: — Гори!

#### 4. БОЛЬШОЕ ЯБЛОКО

«Из ядущего вышло ядомое.  
и из сильного вышло сладкое»  
*Кн. Судей 14—14*

Американцы прозвали Нью-Йорк  
Большим Яблоком

Рабство отхаркав, ору:  
— Здравствуй, Манхаттн!  
Дрын копченый, внушительный батька-Мохнатый,  
принимай ко двору.  
(Реет с нахрапом  
яркий матрос на юру:  
ночью — звезд, и румяных полос ввечеру  
он от пуза нахапал.)

Крепкий подножный утес  
выпер наружу.  
Нерушимую статью мускулисто напряжив,  
будь на месте, как врос,  
каменный друже.  
Твой чернореберный торс  
встал на мусоре Мира в нешуточный рост.  
То-то вымахал дюже.

Стоит, наверно, утрат:  
Родины, дома, —  
на громады великого града Содома  
этот вид, этот взгляд.  
Мозгоподобно  
кодами окна горят.  
Подсмотревшего тайну снедают подряд:  
робость, похоть, стыдоба. . .

(Словно смакуешь во сне  
свинскую сладость.

Да, порочен и слаб, и с собою не сладил, —  
спелся только сильнее.)

Слабый-неслабый,  
а за себя не красней.

«Ты есть ты», — прямо с неба абзацам огней  
вторят быстрые слайды.

Сожран, а все же не мертв.

Жив, и немало. . .

А ядуший да будет ядом до отвала!

Тот, кто примет, — поймет:

враз разорвало

льва-монолита вразмет.

Вижу — рой в этом трупe, и соты, и мед.

Сладким сильное стало.

В старые мехи вобрызнь

сочное соло;

залезай-ка туда же с возней поросевой, —

в жадно-свежую грызнь.

Будь новоселом.

и зарифмуй с парой джинс:

— Жри-ка яблоко по черенок, это — жизнь,  
червячок ты веселый!

## 5. ИНДЕЙСКОЕ МОРЕ

Хорошая земля. И навсегда — чужая.

Хорошая вода: огромная, у ног.

Укоренить бы в ней, деревьям подражая,  
широкошумных дней хотя бы черенок.

А для того — унять внезапное мгновенье:

в нем настоящее. Былого ты лишен.

Ни страхом, и ничем привычным не навеян,  
лишь валится в Ничто пустопорожний сон.

Я точно говорю:

— Мы — то, что наша память.

И если от «сейчас» отсечено «вчера»,  
во лбу меж половин врубается тупая  
не боль, наоборот, — морозцем топора.

И знаю: новизна всегда дароносима,  
но древо символов при этом пало ниц.  
И — нет внутри стволов: дриад, — лишь древесина;  
не лиры на ветвях, — от силы: гнезда птиц.

Зато в какой чести вчерашние закаты!  
Заметы памяти, захлебы напролет:  
— А помнишь год назад, такого-то, тогда-то, —  
в серебряной воде зеленоватый лед?

И если б удалось по срезу — сразу, с ходу  
болезненно пустить прозрачный корешок  
в стакане озера, в пузырьчатую воду!  
Тогда: и на земле, и в землю — хорошо.

## 6. У ПОЖИРАТЕЛЕЙ ЛОТОСА

Пясть Америки,  
крепость ее костяка:  
воронные утесы Нью-Йорка,  
Серые грани Нью-Джерзи,  
Пенсильвэнии желтые груды,  
мраморы в падах Вермонта,  
Массачузетса бурый гранит.

Десть открыта для дела,  
а сердцу враспloch  
как не ёкнуть,  
Представляя кулак  
и массивную битую:  
удар! —  
и Урал  
перебит.

Нет, совсем не затем! —  
где конечные вмятины  
и отпечатки —

Хвать! — за край континента  
скалистая левая  
противоперсть;

Шуйца в рыжей  
бейсбольной  
перчатке

Крепит вместе,  
сжимая надежно, борта,  
со десницею,  
равнодержавная,  
— есть!

Обе длани воздели  
материковый котел;  
в нем живая земля шевелится:

Кувыркаются куры в обертках,  
лотосы,  
пучится кукуруза.

Плавно варится взвесь, —

Деньги вскипают листовкой,  
и сплавляются лица

В пестрое сверх-лицо,  
в надглагольную весть,

Изъяснимую  
на подводном наречьи,  
столь же скользко-ледовом,  
сколь подвижном, как видишь...

Так смешно говорить,  
но тонически спойте, языки,  
ваш новый язык.

Хорошо, что не Бритиш:

Тот всегда  
с недовольным подсосом,  
с обиженным даже сюсюком,  
в котором обмяк и обвык...

Но иначе рекут  
все, вкусившие лотоса  
тайно-сытную сладость:

В круговую поруку вступая,  
растаются как с памятью,  
так и с тоской.

Наслоенья обид  
под наплывом труда  
и комфорта,  
изглядясь,

Вместе с опытом страха  
слезают с хребта,  
словно толстая корь.

Вот и черпай от пуза  
и ты, лотофаг,  
этот кладезь

Жизни,  
просто жизни  
спокойно-хорошей,  
людской.

## 7. ЛЕСНАЯ ПОЛУ-ПОЛОСА

Надо же, есть же такие места,  
где и животным живется спроста.

Белочке — рай, коль не схватит енот:  
с груш и орехов довольно щедрот.

Птичий почти: полу-свист, полу-щёлк  
выпустив, спрятался бурундучок.

Сколько ж тут, сладких для лис, барышей:  
скользких лягушек и вкусных мышей!

Знаю: запасец, запрятаный впрок,  
есть у особенных синих сорок.

Что же до нас, что тут бродят вдвоем, —  
как-нибудь эдак и мы проживем.

## 8. ПОЛНОТА ВСЕГО

Вечерние чужие города,  
сравнимые с пульсирующим мозгом,  
который вскрыт без боли и стыда,  
(а кровь размыта в зареве заморском), —  
внушают глазу выморгнуть туда,

в горячий мрак вглядевшуюся душу.  
А ты и рада сгинуть в новизне,  
сбежать во тьму, себя саму задувши,  
повыплести всю внутреннюю — вне,  
по завиткам и выгибам воздушным.

А если и светить, то лишь едва, —  
летучей, эфемерной порошиной.  
И — числить этажи, сиречь — слова,  
не «богом из машины», а машиной,  
сказуемой из глотки божества,

где, знаками осмысленно блистая  
(сим электронным мега-языком),  
горит надчеловеческая тайна,  
с которой ты дикарски не знаком,  
но силишься вписаться в начертанья.

И странно — чем вольнее мысль о ней,  
чем больше от нее отнумерован,  
тем сущность домышляется полней —  
и кем? — тобою, трепетным нейроном  
с обрубленной мутовкою корней.

Здесь мига не отложено до завтра...  
От первых нужд, чем живо существо,  
до жгучего порока и азарта, —  
**КРОМЕШНАЯ ПРИЕМЛЕМОСТЬ ВСЕГО**  
из черепа торчит у Градозавра.

Буквально самого себя прирав,  
каков ты есть, ты по такой идее  
неслыханно, неоспоримо прав,  
из низких и нежнейших наслаждений  
наслаивая опыт или сплав.



Вот потому-то жизнью вусмерть пьяный,  
в разгаре неувиденного дня  
прошу: да не оплакивайте в яме  
Мафусаила юного, меня,  
исполненного звуками и днями.

## 9. МИЛЫЕ ОКИ

Нечто большое держать надо мужу под боком:  
бабу, добычу, судьбу. . .  
Брег океанский попать,  
                                либо гору снести на горбу!  
Иль по Великим Озерам подплыть к Милуокам.

Тут и у ока — для колбочек донных — улов:  
черные дыры в лазури. . .  
К ним, леденцовые, льстятся  
                                зеленые волны-лизуньи;  
лед на просвет полурозов и полулилов.

Кто паруса расписал — свиначи ли, свиначки?,  
(визг пороссячий для глаз), —  
краской свирепой и флажной.  
                                для влажной прохлады, как раз:  
синий со звездами грот, полосатый спинакер.

Да не осудят регату Дюфи и Вламинки!  
У цветowych какофоний,  
у белосытых берез  
                                и ковровых газонов на фоне:  
торты азалий и клювы магнолий-фламинг.

Да, ничего Мичиган, молодежавое море,  
давняя встреча вождей —  
тоже, впрочем, пернатых. . .  
                                Здесь даже размеры стрижей  
вшестеро пуще. И все тут в ажуре, в мажоре.

Есть и куда заглядеться — в каурный накал,  
в истинно Милые Оки,  
чуть виноватые — мол,  
                                далеко мы, но не одиноки. . .  
Я их неблизко, зато как надежно сыскал!

## 10. ПОЛОСА ПУСТАЯ

А бывает и озера — нет.  
Ни воды — ничего.  
Кромка берега — край ойкумены.  
Ни-ко-го.  
Лишь по важенке стонет ревун одиноко.

Отнюдь не маяк — гамаюн.

Сухогрузку зовет, изнывая...  
И — ни красок, ни слов.  
Тени — в нетях. А небо? И — дно? —  
Не видны.

Только стонет ревун.  
Никуда ниоткуда не деться.  
А индейское море ушло.  
Ныне — там, где пернато-разлапые,  
с томагавками, души.

Тянет ноту ревун,  
алконост ластиногий, несносно.

Где мы, что мы?  
Да что там,  
куда там —  
туман.

Нью-Йорк — Милуоки, 1980—83.

## **АНГЕЛЫ И СИЛЫ**

### **1. ТИХАЯ МОЛИТВА**

Ангеле Божий, Хранителю мой,  
братик небесный в нелюбе земной!

Наших нежнейше-неслышных бесед  
на языках человеческих нет.

Слух ни глагола не выловит. Лишь  
духу звучит эта теплая тишь.

Что это: зов? Или весть? Или знак?  
Что-то... А сердце оттукнется: — Так!

Братик! Самой неразрывью своей  
что-нибудь сделай и мраки отвей.

Вот я, и вот они все потроха  
Божьего грешника и батрака.

Что я могу? Только душу — по шву...  
Как получился, таким и живу:

крепкий, работал, и, слабый, грешил,  
разве что дар не менял на гроши.

Выпрями, ежели можешь, состав.  
И в обстоянии не оставь.

### **2. ЕВАНГЕЛИСТ ИОАНН**

Это Слово снесла орлица  
в руки апостола Иоанна, —  
а как бы еще ему окрылиться  
истово и благовествованно?

Порхнуло, прошелестело по свету;  
шепотом даже лучше слышно:  
а что, если любовь — это  
изумление красотой ближних?

Выплывание образа: либо Мариина,  
либо лика Учителя — в них,  
не оставленных без руля и мерила. . .  
Клёкотно говорит ученик.

### 3. АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ

Бог победит (в тебе!) —  
   глаголет Гавриил —  
(или — тебя?). Он сам: пред — это слово.  
Он весь — и весть, и суть. И узел сил  
узилища телесного, земного.

Начало дел. Зародыш речевой,  
летающий титлом  
   лечь на чистую страницу.  
Из дуновенья дня, из ничего,  
глядишь, и Слово само-сотворится.

До ветхости мир исписался весь.  
Пора не спать, пророки были правы,  
но действовать, спасти,  
   отдав себя на месть  
само-губителей, спасателей Вараввы.

И вывращивать время, чтобы где ж? —  
здесь, на земле, в любые дни и лета  
впорхнуть победой Божией в допрежь  
тетрадь нетронутую  
   Нового Завета.

#### 4. ИЛЬЯ ПРОРОК

Львиные грозы...  
О, Илие!  
О, пророче, мы с небом — не розны.  
Всё ли мы на земле?

Или, гулко гуляя:  
— Купол, — позвал, — громозди  
для храмного Рая.  
Раструб звуку пророй из груди!

Нёбо выстрой  
и Новое Небо скажи:  
громобыстры-  
е ярусы ярой радости и этажи

гордых облак.  
О, Илие!  
Труд небесный — творительный отдых  
для работ на земле.

Но вземлю  
тягло любого труда:  
огалилеим ее аллилуйей,  
и Наиновойшую Землю  
все населим тогда.

#### 5. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

— Кто, как Бог? — Светлый выкрик —  
это и есть Михаил.  
Ангелу гордому, горькому  
он себя возгласил.

— Ты, увы, Совершенного Сердца  
пропята рана, изъян.  
Гневной любовью к отступнику  
Михаил осиян.

Меч — Любовь его, Верность —  
  броня безущербная, щит.  
Слава — яркий шелом,  
  корпус Верой кольчужно покрыт.

На крутых нараменниках —  
  крылья горние Сил.  
— Кто, как Бог? — Этот светлый упрек —  
  он и есть Михаил,

что себя же и выкрикнул  
  мировому предлогу, Врагу.  
Вымыть капелюку яда из «Я»  
  я, и жизнь переплыв, не смогу.

## 6. УМНАЯ МОЛИТВА

ГОСПОДИ!

Отведи меня здесь от растравы и роспади,  
ГОСПОДИ ИИСУСЕ!

Все-то зрящий во всех, —  
  как ты горшим, душа, не рисуйся, —

грех возъемлющий Мира,  
  за всех, за меня на кресте  
в костном хрусте висишь,  
  ГОСПОДИ ИИСУСЕ ХРИСТЕ!

Вместо меня. . . Но и вместе со мной:  
  сколько спину ни горбь,  
выпрямительна, видите ль, казнь,  
  очистительна скорбь.

Вдышана в меня душа на всю жизнь,  
  да, но не больше,  
ГОСПОДИ ИИСУСЕ ХРИСТЕ,  
  СЫНЕ БОЖИЙ.

Эту смесь как разделишь:  
  меня и со мной же —  
  горчично и гречнево?  
ГОСПОДИ ИИСУСЕ ХРИСТЕ,  
  СЫНЕ БОЖИЙ,  
  ПОМИЛУЙ МЯ, ГРЕШНОГО!

## 7. СОШЕСТВИЕ ВО АД

Мир — это весть. Но весь  
иссяк и вытек смысл из букв тощих...  
Путь — луза мрачная — куда? Невесть.  
А истина — в кровавых многоточьях.

И не сложилась жизнь.

Ее Хозяин и источник  
громадно выдохнул себя чрез толщи —  
заматерелые — материальной лжи.

И тут — расселся грунт.  
Ткань лопнула, натянута на тябла  
в соседней храмине, враспах и вдруг.  
Ткни, и — насквозь: так вещество ослабло.

Когда изъята ось,  
какая верть и твердь — не дрябла?  
Обручено безлюбо, безобрядно,  
пространство с временем в три дневи разошлось.

И рухнул Бог и Дух.

Лишь крохотный, лишь болевой росточек  
под плащаницею на Сердце вспух...  
Так началась работа этой ночи:  
сошествие во Ад.

В ту пазуху (быть может: точку),  
где вход в Ничто, что болью был проточен,  
и ужасом заляпан и объят.

Туда, в голодный нуль,  
в заглот, за житом бывше-человечьим —  
нас, гиблых, ради — Он Себя вомкнул,  
а нам утраты и оплакать нечем:

всерьез бесслезносерд  
весь этот свет. А тот — сердечен?

— Удавкой временем обесконечен,  
в мешке пространства коротает смерть.

Да как же смерть — терпеть?!

Всей верой, всем соборно-главным телом  
в Страстную эту Пятницу, теперь  
вцепиться в Бога — вот что можно сделать!

С колоколами — в сплав!

Мы — храмовый народ, ему подмога, —  
из наших пульсов, пущенных стремглав,  
из кровавых телец восклеим Бога.

Исчезнем вольно в Нем.  
Рискнем ничем — воздастся много. . .  
Ведь Он и мертвый: весь о нас тревога;  
в трудах о нас и в смерти он живьем.

Ужо — узнаем там,  
в том свинском тупике, мясном забое,  
где дальше мрет всечеловечий хлам,  
где стон и визг, и скрежеты зубовны, —

что мирозданья срам —  
весь — упразднен и обезболен,  
благоразумный вознесен разбойник  
с Христом — туда — в Пасхальный Первохрам. . .

— И ты — домой, Адам!

*Милуоки, 1981, 1984—85*



## ЯШИНА ВЕРЕВОЧКА

Мерзо-сытая, американская,  
скользкая без мыла, мразь,  
все же захлестнула, не соскальзывая,  
выдержала, не оборвалась,

напряглась, тошнотная, брезготная,  
врезалась удавкой на затыг  
в душу, занемогшую невзгодами,  
теплую. . . И ни за что, за так —

все дары-сокровища. . . А прежде ведь,  
шлаками житейскими дыша,  
как она умела обезвреживать  
яды, добролепая душа!

Видно, приземляясь, преждевременно ликовала  
в новизне свобод. . .

Вот и — разрывное повреждение:  
с ларами разлука — не Исход.

И такое хлынуло в пробоину  
темное, что (знаю эту боль),  
захлебнувшись мраками и болями,  
кукарекнул разум, дал отбой.

Выскочил в какой-то юмор висельный  
и, уже святым не дорожа,  
всем язык в самоглумленьи высунул  
точно: сквозь окошко гаража.

Поделюсь землю уворованной  
(для себя в таможнях проносил).  
Только глистоватую веревочку  
вытошнить из памяти — нет сил.

*Хьюстон — Милуоки, 13 мая 1984*

## ПО ЖИВОМУ

### 1.

Рассказать бы простым языком  
о голом комке протоплазмы,  
что под галстуком и пиджаком  
бьется из-, невылазный. . .

Да, и маменькин гогочка, и  
злой зверек и амеба  
тычется в закоулки свои  
в жажде, в общем-то праведной, млека и меда.

Больно — значит живешь. Больно жить.  
Иногда — интересно.  
И зарубкам излюбленным (чем же еще дорожить?)  
за года не стереться.

Тут и случай: «До встречи Нигде».  
Почему-то припомнилось Волково Поле,  
почему-то перо — в (никогда не растил) бороде,  
и — не станем додумывать боле. . .

И — никак, никуда, никогда:  
перекресток вот эдаких, лучших  
в переперченной жизни, и как ни хотелось бы — да,  
нет, не выйдет, голубчик.

Не того ли же солнца припек,  
и не те ли же зги вечерами?  
А, как вышло-то вовсе не так, поперек:  
что Страну, — мы себя потеряли

и с пробоиной в ребрах, и черпая черта бортом,  
держим курс на какой-то Канопус.  
Ну и что: если даже потонем, так это потом.  
Раскрутили мы все-таки глобус.

## 2.

Ах, ты песня, песня русская,  
выручай от заморской тоски, —  
словно лезвие узкое, узкое  
разрезает комок на куски.

Почему, для чего и откуда я?  
И — куда? Подо мной — океан.  
Что-то где-то должно быть напутано:  
как допить непомерный стакан?

Я ведь русский, брательники, русский я!  
И куда же меня занесло?  
Карта Мира вселенская, хрусткая  
нулевое мне кажется число.

Где-то поле и поскоки конские,  
городецкий раскол калабах.  
И в размор на припеке, на солнце  
холодок пропотевших рубях.

Повернулась Европа на палочке  
и пропала в воздушной тени.  
Ах, Семен Ерофеич, с Пал Палычем  
чокнись, друг, и меня помяни.

*Над Атлантикой, 3 июня 1983*

## 3.

В священных городах, где травяные руны  
струятся на ветру и высятся руины,  
окрашен ягуар не охрою в кумирне...

... Но камень орошал живой и страшный сок.  
И низкорослый жрец вот этот мой комок  
(на миг пригрезилось) из-под соска извлек.

При том, что ломит грудь, — лагуны на черта мне  
причудливо-чудных и чар, и очертаний?  
И в наслажденьях — боль, а в бедах — не считаем.

Я раньше верил: жизнь есть не юдоль скорбей, —  
пир небожителей, где только радость пей.  
А вот что жизнь: — Браток, опохмели скорей!

Нежно-божествен мозг у сей дрожащей твари,  
и выращен в душе все-мировой чувстварий...  
Но, что ни говори, — бутылка не товарищ.

У барракуды жор, — огнем блеснул зрачок,  
как бы сама волна живая; что за черт?  
И в душу заглянул с усмешкою мрачок.

Страх одиночества, страх смерти, страх безумья  
глодают бирюзу Карибского лазурья,  
за то вливая в глаз позорную слезу мне.

Как слоно-паровоз, когда-то Китоврас,  
неповоротливостью был силен как раз, —  
об угол бытия и я — реберьем — хрясь.

До кожных волдырей ошпаренный кораллом,  
тому скорее рад, что болью — боль караю;  
кокос до молока гвоздем расковырял я.

И разом хлынула вся жалкость жалких лет,  
о невозможном невозможный сладкий бред, —  
одно большое Да на все былые нет.

И к вящей правоте гаданий и решений  
не давит ни ярмо, ни петля, ни ошейник.  
И в беглого раба вцепился рак-отшельник.

*Мексика — США, февр. 1984*

#### 4.

Вещи могут морщиться, как лица,  
вот одна возглавила пальто:  
на себя неузнанно глядится  
ошалелый дядька с пульсом 100.

Узнаешь ли давеча царевича  
в дядьке? Неужели это — я!  
Как у Владислава Ходасевича,  
только по всезнанью — не змея.

В драку шел когда-то, как на праздник,  
мир извездил, исходил Париж.  
А — в изветах, в язвинах напраслин  
больно ли? О чем ты говоришь.

На людей железо не замахивал,  
слова не растлил, куная в яд.  
Но признаньям этим, ох- и аховым  
кто-то, похохатывая, рад.

А сейчас бы тихо пискнуть: мама!  
и вверху воробушек: чувствовать.  
Шкурой подгнивая, рухнуть мало.  
Рухнешь — как бы тех не придавить. . .

Отпусти мне лет побольше, скареда, —  
каюсь и канючу, как цыган:  
Дари-дари-дари, дари-дари-да.  
Поздно, конь хромой, пустой карман.

И — да будь подольше не допета,  
положи на ноты даже стон,  
песня, у которой — ни секрета.  
Если только точен тон.

*Милуоки, февр. 1985*

## ПОЭТУ

Звук ангелу собрат  
*Н. Клюев*

Струны дико и туго  
натяни на подрамник,  
чтоб из цвета и звука  
рвался ангел-подранок.

Послушай получше:  
ближе, ближе. . . Слови его  
И у слова вылущивай  
суть соловьиною:

то выкатит лаково  
полновесные свисты,  
то рюмит заплаканно,  
пусто и чисто.

А какой-либо цели  
туда и не вкладывай, —  
нет самоценнее  
умного лада:

то слегка, то свирелью,  
то собой залимонивает  
по сиреневым,  
по прохладным бемолям.

То, швыряясь роялями  
в горлоухое эхо,  
вытворяемым  
тешит Бога и Эго. . .

*Милуоки, апр. 1983*

## ГЛАЗА В ГЛАЗА

В ребячестве Время было  
муркой на солнцепеке.  
Время клубком играло,  
а Парка клевала носом.  
В зрелости дозверело  
до мускулистой львицы:  
коготные потягуси  
да презёвы с клацем.

Вдруг: только что тут, и — нету.  
Вздрагивает метелка  
в такт какому-то пульсу,  
а так — просто трава. . .

Я это к тому, что не стоит  
блеять на бурные вспрыги. . .

Но — залюбоваться, глядя в  
(остановись, мгновенье)  
взрывчатые зрачки.

*Милуоки, нояб. 1983*

## АБСУРД С НЕПРИЛИЧИЕМ

Отдыхаешь, а в мыслях залетно:  
— Ах-ха-ха! — записной зубоскал,  
некто тенором крепко зальется.  
Или палец кому показал?

В том и шутка, что не было пальца,  
в том и жуть, что нема смехача.  
Видно, Принцип какой-то распался,  
за который бы жизнь — сгоряча. . .

Без которого в дырке у смысла  
черноватый пустой хохоток —  
хоть святых выноси — разрезвился  
по-дурачки: в портках — без порток.

Кукиш ноликом, коего в школах  
никакунюшки не обсосут.  
На хаханю не создан психолог,  
он — отсутствие сути, абсурд.

Видно лопнуло Нечто, что веком  
на века закумирено впрок. . .  
Звонко пукнул тому с кукареком  
весельчак безо лба, колобок.

*Милуоки, 22—23 нояб. 1983*

## ТРОЦКИЙ В МЕКСИКЕ

Дворцы и хижины, свинцовый взгляд начальства  
и головная боль, особенно с утра, —  
всё нудит революцию начаться.  
— Она и началась, но дохлая жара. . .

В жару, что ни растет, от недостатка вянет;  
в сосудах кровяных — ущербный чёс и сверб.  
Коричнево висит в голубизне стервятник, —  
эмблема адская, живосмертельный герб.

То — днем. А по ночам — поповский бред сугубый:  
толпа загубленных, и всяк — в него перстом.  
Сползают с потолков инкубы и суккубы  
и мозг его сосут губато и гуртом.

— Опять напиться вдрызг? Пойти убить индейца?  
Повеситься, но как? Ведь пальмы без ветвей.  
Да из дому куда? А — никуда не деться:  
поместье обложил засадами злодей.

Те — тоже хороши. Боялись термидора,  
а бонапартишка — исподтишка, как раз, —  
(как дико голова, и нет пирамидона)...  
Французу — Корсика, что русскому — Кавказ.

Но какво страну, яря сословья,  
блиндированным поездом ожечь;  
не слаще ль этот рык, чем пение соловье —  
рѣв скотской головы пред тем, как с плеч!

Мятеж, кронштадтский лед, скорлупчатое темя...  
...Боль на белый свет... Молниеный поток.  
— Что это, что?.. А — всё. Мерцающая темень.  
Жизнь кончена. В затылке — альпеншток.

*Милуоки, дек. 1984*

## НА РАСКОПЕ

Вознячук откопал Студенец.  
Погляди — аллохтонная гиттия...  
Как удачно старатель и спец  
отвалил на картон эти вскрытия.

Только слух на слова подкачал.  
Выручает просодией озеро,  
где — по просеке, и — на причал:  
плоскодонно, журчливо, березово...

Нарочь, я же не ворог, не тать!  
Костерок попридавлен корягою...  
Никогда не бывал. Не бывать —  
на ладони судьбой накарябано.



А деревня манит: Близники.  
Чем? Да той же неблизостью чаемой.  
Ночевать бы у Нарочь-реки,  
да под самый урез изучаемый

распоясаться с кодлой-братвой  
(позабыл ее имя и отчество).  
И главней позабыл: я не твой.  
Я ведь вправду не твой, и не хочется.

Но порой признаюсь: я готов  
наслоения жизни и опыта  
отложить в намываемый торф.  
И гадать: что добыто, что пропито.

*Милуоки, май 1985*

## ФИЗИОНОМИИ

Как, однако, вожди некрасивы,  
если даже и льстит аппарат.  
Сколько тучной набыченной силы  
выставляют они наперед.

Ни на гран, что мы ценим и любим  
в собеседнике, в друге, в другом:  
чистоумной открытости людям,  
искры юмора — нет ни в дугу.

Но за тяжкими их орденами,  
за буграми напыщенных лиц  
до чего же они ординарны!  
— Как бы с нами единая власть...

Оттого мудрецы и безумцы,  
те, что были бы солью земли,  
либо там на запечьи трясутся,  
либо всяк на свободе замлел.

Кто-то скажет: — А так нам и надо...  
Знал бы всё, не перечил бы впредь,  
и — обратно бы в теплое стадо  
потереться боками, попреть.

Перестань: всё равно, всё равно ведь  
не втемяшиться в общий кулеш.  
Ты уже непохож. Остановят.  
Сам побрезгуешь, ложки не съешь.

А братва? А бывлая дружина,  
что случалась роднее родных?  
Да ничем она не дорожила,  
всем давала с размаху под вздох.

Вот о ней-то горячего сраму  
обобратся ли? Не оберешь. . .  
Как чужую вчерашнюю даму  
стыдно вспомнить.

А помнить — и что ж!

*Милуоки, окт. 1984*

## СВЕТЛА. . .

Узлистое семя тирана,  
кремлевский воробушек, дочь,  
спросонок, босота Светлана  
порхнула из форточки прочь.

И — в мир, и — в миры, в измерения!  
В иное и новое, вон.  
Туда — за моря, в замиранья  
себя — за собою вдогон.

Но там, на Луне, в деревенской  
комфортно-стеклянной глуши  
в подушку уж не доревеется  
до ближней 100-верстной души. . .

. . . О нем голодается остро,  
друзей не хватает до слез.  
А эти глядят, как на монстра  
опасного, но не всерьез.

Ах, как бы они лебезили,  
когда бы им — бешеный кнут,  
чтоб знали! И — выблеск бессилья:  
был папа оправданно крут.

Секомые знают и помнят,  
мимически полно молчат. . .  
Назад — в это логово комнат  
до жарких и душных волчат

своих, чтоб вихры теревить им!  
Дадут ли, седые, теперь?  
В кремлевскую мать-обитель  
взахлоп для воробушка дверь.

Для рыси орлецкой, для тигра  
ужель не найдется угла?  
Пока свой конец не настигла  
царевна в опале, светла. . .

*Милуоки, 2 февр. 1985*

## ВОЗВРАТ

Рахманинов играл, Шаляпин пел.  
Какие титанические люди!  
— За милых дам! За Мира передел!  
И голова Крестителя на блюде.

Немая мысль не шевелила уст,  
лишь подымала пепельное веко:  
о явной смертобойности искусств,  
о Зле и о явлении человека.

И розовели зори и дела.  
Но гибель предреклаась для полу-Мира.  
Когда б рябиной Родина была,  
то у корней лежала бы секира.

Шаляпин пел, Рахманинов играл. . .  
Зачем их не заснял кинематограф, —  
раскрытый зев певца во весь экран  
и пальцы пианиста, прыть которых

враз искресала радугу из люстр,  
за звуками всё зло заиллюзорив.  
А бас, а Зороастра-златоуст,  
то бархатно-лилов, а то лазорев,

свободно плыл по попранным полям,  
где топотно и потно убивали.  
Разваленную тяжко пополам  
страну спасет ли ария? Едва ли.

И где он, горла певчего удел,  
где своды, подпирающие небо?  
— Ираклий, шел бы к черту, надоел, —  
несется осязаемо из гроба.

Ах, Франция: увидев, — умереть!  
Усталому, сладка твоя земля:  
как на перине, в ней отрадно преть,  
и прах супруги рядом пепелится.

Здесь тиховейно спи наверняка,  
знай, тлей себе в могильной тайне, в Бозе,  
покойся, забывайся на века.  
И что властей? Смертей уже не бойся.

Как бы не так! И вдруг: туда: труба!  
— А ну вставай, проклятьем заклеименный,  
проклятьем славы и клеймом раба,  
принадлежи отныне миллионам.

Бери свой прах, но выбрось прах жены.  
Ты не воскрес, довольствуйся субботой,  
зато ошибки будут прощены.  
Работай, труп. А ну, живей работай!

Ты — наш, и не поможет флажолет.  
Мы — до скончанья времени. Ты тоже.  
Французской пломбой скалится скелет,  
а будущее близко и дотошно.

*Милуоки, май 1985*

## ИМЕНА

### 1. ЕФИМУ СЛАВИНСКОМУ

Столько худого хлебнул, а ни-ни:  
не вспоминаются черные дни,  
а вспоминаются белые ночи,  
яркие сумерки, — только они. . .

Смольный собор в озареньи заочном,  
тыльце ладони, студеной на ощупь,  
сладкие горести, робкая страсть. . .  
— Тянет обратно?  
— Да как-то не очень,

разве когда переменится власть.  
— Как бы не то! Хоть и в петлю залазь —  
тупо стоит. . .  
— Но об этом не надо:  
наши родные залогом за нас.

А из решетки у Летнего сада  
твердые звуки державного лада,  
арфоподобные, надо извлечь.  
— И не тянись из Не-знаю-где-града,

сытого самоизгнанья, сиречь.  
То и твержу:  
— Завела меня речь  
с книжкой первозеленых «Зияний»  
слишком неблизко. . . И — сумка оплечь.

Не получилось пыланий-сияний.  
Разве что опыт осядет слоями,  
истинно станешь не кем-то, — собой.

— А хорошо бы, ребята-славяне,  
песнь кривогубую спеть на убой:  
«В той степи глухой замерзал ковбой».

## 2. ОПЫТ ВИНЬКОВЕЦКОГО

В исподах мозга, на лету  
минуты мутные, лихие  
намертвевают черноту.  
Их — вывихнешься, не исхитив  
(страданье — пятая стихия),  
ведь: по́-живу, не по холсту.

Но живописец-беспредметник  
сумел и в обстояньи зла  
их обезвредить, бесприметных.  
А каждая, как ни мала,  
на то влияет, чья взяла:  
беды или гражданской смерти?

Мой друг (ни в чем его вина)  
в час ожидания допроса  
молился на просвет окна.  
Вот — и зажжется папироса,  
дым поползет под лампу косо,  
и — называй, мол, имена.

Тогда художественный опыт  
противу тех минутных сил  
он вывел, чтоб избыть их скопом.  
Но для начала до чернил,  
до хлопьев сажи утучнил  
невидимую эту копоть.

Мрачнела следственная клеть.  
И, действуя медитативно,  
он злую тьму пустил густеть.  
В ядро завязывалась тина,  
по сути своего мотива  
с краев редевшая на треть.

Когда ж клубящийся булыжник  
у друга над виском навис  
эссенцией чернот облыжных, —  
он быстро ограничил низ,  
пустивши рейками карниз,  
и сверху, и с боков — от ближних.

И яд унял над ними власть,  
иссяк, вися в дешевой раме.  
Осталось подлеца заклясть.  
Он путать краски был не вправе:  
на красную тот прямо прынет,  
от розовой — разинет пасть.

Зеленую! Крестом широким  
(да позаборней подобрав):  
— Изыди! — Эдаким нароком  
его похерить, и — за шкаф,  
где будет преть, гугнив, гуняв, —  
абсурд, пародия на Ротко.

Встал, прогулялся: три на пять.  
К себе же самому — доверье.  
— Да где ж они? И — ну зевать.  
Взял книгу за минуты две — и  
сказал в открывшиеся двери:  
— Отказываюсь называть.

### 3. НАСТАВНИКИ

Нет ни Дара, ни Глеба Семенова...  
А мы сами-то, разве мы есть? —  
от пасомого стада клейменого  
с вольнодумством отдельная смесь.

Нас учили казенные пастыри:  
«Деньги-штрих, деньги-деньги, товар».  
Нам же — дай своего: хоть опасного,  
но живого, не правда ли, Дар?

Вот и глупо мудрели до времени  
и боялись; наставники — тож.  
Потому что давали не премии,  
а по шапке за так, что живешь.

Мы у Родины матери-мачехи  
ни штриха не просили на хлеб.  
Ждали русско-еврейские мальчики  
к ним доверия, правда ведь, Глеб?

Мы писали по сердцу, по совести  
и несли на ладонях в печать  
наши ранние песни и повести.  
Был по Чехову стоп: — Не пуцать!

Вместо статуй Злодея-покойника  
я воздвиг бы под звуки фанфар  
отставного, в подтяжках, полковника.  
Знак эпохи, не правда ли, Дар?

Да, такой (что там голуби-ястребы),  
власть имея, кого бы закласть,  
не над перьями правит, но явственно  
над мальцами пернатыми, всласть.

От него мы за Даром уехали,  
бросив землю на волю судеб,  
за немногими слабыми вехами  
тех, кто с нею остался, как Глеб.

Боже Правый! До времени Оного  
упокой их не в землю, а в стих.  
После Дара и Глеба Семенова  
кто там пестует новых, своих?

#### 4. ЮРИЮ ИВАСКУ

— России нет, — жёлчь изливал Иван.  
— И — хорошо! — юродствовал Георгий.  
А что тогда гналось на Магадан  
и мёрло в селах? . . Юрий был негордый.

Всегда, как и теперь, седобелес,  
он, видно, веял юностью такою:  
хоть от острот и хохотал до слез,  
но плакал над Марининой строкою.

Он *пели-пели-пели* написал,  
и: *пили-пили, поле, пули, пали*.  
По звукам Пли и Эль на небеса  
вели доброармейцев Петр и Павел.



Но тон Парижской Ноты был уныл,  
а чистенький пейзаж новоанглийский  
так и остался сердцу мил-не-мил:  
— Мне москвичи любезны, Вы мне близки.

Не в эльзевирах — вечный человек:  
несомый папиросною бумагой,  
по Самиздату бродит в дождь и снег,  
играя в мячик со святым Гонзагой.

Мы с Юрием в самом Раю — а где ж? —  
постелим самобранку под-за кустик  
и за Россию чокнемся: — Грядешь!  
И малосольным огурцом закусим.

*Милуоки, июль — сент. 1982*

## **РУССКИЕ ТЕРЦИНЫ**

0.

Мала терцина. Смысл — наоборот.  
Чем он крупнее (и — русей), — тем лучше.  
На первой рифме гнешь дугою вход,

впрягая тезу — женское трезвучье.  
За нею — ТРОЙКУ отзвуков мужских,  
и — с тезой антитеза неразлучна.

Но, чтобы смастерился емкий стих,  
пора готовить выход, как у Данта.  
Есть девять строк. Всё высказано в них.

А на десятой — поворот: КУДА-ТО...

### **ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**

1.

«Димитрий, Родину — и там любите!» —  
с платформы выкрикнул один дурак.  
Ответ зажало дверью при отбытьи.

Какая гвоздеватая дыра  
под таким понятием разумелась? —  
Из коей вышел, в кую на ура

уложат с побрякушкою за смелость?  
Спасибо, нет. Клубок моих обид  
снесу на незасиженное место, —

распутывать, высвободить, любить.

2.

Да все — изгнанники, еще с Адама...  
Кто Рай покинул, кто изжил Содом  
в сознании. А мы так и подавно, —

где нам похлебка варится, там — дом.  
И все-таки живем и не плошаем,  
и думается крепче о родном,

но не одним, как прежде, полушарьем.  
Два опыта сомкнулись в полноте.  
И, кажется, слова сейчас нашарим

вернейшие, насущнейшие, те... .

3.

Во-первых, стыд. Лишь по тому резону,  
**КАК ОБОБРАЛИ НАС В РОДНОЙ ДЫРЕ!**  
Вкусноты разные — до горизонта,

черешня и арбузы — в январе.  
И больше, чем людей, автомобилей,  
а воздух чист, что роза на заре.

Приветливые лица... Но — обидно:  
ведь и у нас такая же страна, —  
с землей, с культурой... А живем — как быдло!

Всё — Партия? Да только ли она?

4.

— Любезнейший, Вы — помните едва ли,  
я — как вчера, — столицу над Невой.  
Довольство. Государыню на бале,

всю в белом с бриллиантами рекой.  
И государя на борту эсминца  
«Сообразительный»... Нет — «Огневой»!

И вдовствующую императрицу. . .  
И всей красы державной торжество,  
какое демократам и не снится, —  
не правда ли, почтеннейший? . . — Чяво?!!

5.

«Мы Православье вывезли на Запад,  
и Бога чтим ПО РУССКОМ ЯЗЫКЕ».  
— Взгляд пулеметчика-белоказака

и Чаша Евхаристии в руке.  
«Мы против батьки-Сталина бороться  
ПОЧАЛИ ФАЙНО, с пальцем на курке».

— За батьку-Гитлера твое болотце. . .  
Но кто же — за — культуру и язык? —  
ДВУХБЕДРУМНЫЙ АПАРТАМЕНТ ЗДАЁТЦА».  
И — подпись. . . — Диссидентствуй, Бенья Крик.

6.

Девиз: «МЫ НЕ В ИЗГНАНЬИ, МЫ В ПОСЛАНЬИ».  
Не всякий сможет. Мережковский смог.  
За что и был кем только не ославлен.

Да, мыслями двоился мистагог.  
Антихрист у него смыкался где-то  
с Самим Христом. Лукавый завиток,  
но в том и сущность! И она — задета.  
И если что-то миру мы дадим,  
так это — ЦЕРКОВЬ ТРЕТЬЕГО ЗАВЕТА,  
которая выгреживалась им.

7.

Поэзия была, как волшебство.  
Поэты слыли чем-то вроде солнцец,  
слепительно влюблялись, кто в кого:

в прекрасных незнакомок, в тьму поклонниц,  
в Любашу Менделееву, увы. . .  
Притом — глядели в Слово, как в колодец.

Живой водою брызгались, волхвы.  
Злом любовались — всласть. И все ж неплохо  
посеребрили век. А мы? А вы?

По нам ли будет названа эпоха?

## 8.

«Ну, что они увидят здесь у нас  
из окон интуристовских отелей?»  
— Да будь на всех единственнейший глаз,

увидели бы, если б захотели.  
Но: хорошо — в уродливой толпе —  
с добротною одеждою на теле

чужие взгляды привлекать к себе.  
Вещать: «Пожалуй, темпами развитья  
вы — впереди, но техника слабей. . .»

«Позвольте сигаретку? . .» «Шюр, возьмите!»

Утопли в ораториях, балетах  
и юбилеях. Снова юбилей.  
Идет страна семидесятилетних

к семидесятилетию. — Да, налей!  
Той, что мозги прочистит, нашей горькой, —  
уже не лезет никакой елей.

— Так что же мы? Давно скользим под горку,  
а с «Похвалою глупости» Эразм  
за столько лет не устарел нисколько?

Склероз, бахвальство и маразм, маразм. . .

## 10.

— Мы Запад. — Нет, еще какой Восток!  
— Смотря с какого края горизонта. . .  
Мы сами по себе, — таков итог.

Меж двух сторон распаханная зона  
(нет паспорта, и — сразу виден след).  
И эта жизнь в колхозо-гарнизоне

всех единит и делит: да и нет.  
Все — против нас, или за нас... — Да полно!  
Открыт, хвала Колумбу, Новый Свет,

где можно жизнь прожить, о «нас» не вспомня.

## 11.

Когда бы Волга в Балтику текла,  
тогда предположительно иначе  
сложилась бы все русские дела.

Наверное, заполонили б наши  
Европу. Но и немец бы успел  
Россию взять — до Октября, чуть раньше...

А то и — католический удел,  
на радость Чаадаеву, навеки...  
Тогда бы турок не задарданел.

Да и варяг не закатился в греки.

## 12.

Всё из-за слов полуторех — «И СЫНА»...  
От тех отбавить или нам придать, —  
и католическая — в Духе — сила

в какую изошла бы благодать!  
Равновселенски обе главных Церкви;  
не можно так: и чтить, и разделять.

Но — в кесаревых целях — мы не цельны,  
в небратстве живы, вот и мир жесток.  
И только Крест соединяет в центре

Мгновенье, Вечность, ЗАПАД И ВОСТОК!

13.

Программа «Время»: в Таллинне плюс 5,  
и минус 50 под Верхоянском.

— Как разность эту вместе удержать?

Ведь мы физически на части хряснем.

— Да. Только силой... Прочее — не в счет.

Публично каются Якир и Красин,

а телевизионщик ловит, черт,  
нарочно, микрофон на фоне носа.  
Смешно? Здесь даже время не течет,

погрязшее в пространстве високосно.

14.

— Еще?! Нет, православные, не надо, —  
и так уж на полсвета расползлись.

Но щит Олегов на воротах Царьграда

всё тешит неотёсанную мысль.

Культ силы есть. Но нет былой культуры, —  
империя при том теряет смысл.

Зато и подданные злы и хмуры:  
за всё, про всё, — в карманах ни шиша.

И лишь орут, поддавши политуры:

— Мы всех сильнее! И — гуляй душа!

15.

Вся жизнь — противоборство с этим танком.  
Он прет, а я (казалось мне) храню  
ключ — развинтить чудовище.. Да так ли?

Как тянет нас на теплую броню!  
Мальчишество? А что! Вскочить на панцирь,  
и — дать по мировому авеню...

Приятно сознавать, как мы опасны.  
И горько говорить: «Я ж говорил...»  
А если не успеешь окопаться, —

«Вы — Божий бич!» — приветствовать аттил.

16.

Оставленный среди бело-бурых пург  
гранитоносец, золотые шпичи, —  
почти не оскверненный Ленинбург

(Москва-сарай пригодней для столицы)  
с тяжелою осадкою бортов  
серосуровым крейсером глядится.

Подобны крабам пятна от орлов,  
подъяты якоря во тьму и зиму:  
«К ПОБЕДНОМУ ОТПЛЫТИЮ ГОТОВ!»

— Куда ж нам плыть? — Вестимо, на Цусиму!

17.

Бесстыден, и любезен, и свиреп, —  
ни дать ни взять, как Цезарь у Катутла, —  
тяжелой государственности вепрь

в гнезде орла воссел короткотуло.  
Ты скажешь: — У Истории в хлеву  
свинья согнала курицу со стула...

— Но я-то на земле впервой живу!  
Не наблюдал я, как летели перья,  
но, кажется, увижу наяву

кровавый жир последней из империй.



## 18.

Солдаты, кони, девы — все крылаты.  
 Орлы двуглавы. Всюду — буква Ять,  
 скрещенные мечи, эмблемы, латы. . .

Поэзии одическая рать. . .  
 Конечно, безобразничали в Польше.  
 И дома — тоже. Но, по правде взять,

сравнительно с теперешним — не больше.  
 Гаремы заводили? — Так, Ахмет,  
 и звались христианами. . . О, Боже:

скорбеть об этом — да. Вернуться — нет.

## 19.

А что, когда «в минуты роковые»  
 и вправду призовут? Сказать, что нет,  
 мол, нездоров, простите, всеблагие?

Почтительнейше возвратить билет?  
 Да что гадать! Давно уже призвали,  
 «куда вставляют клизму» — так поэт

(не тот, конечно, что стоит в начале)  
 изволил выразиться, Ваша честь.  
 Все пьяны. Экономика в развале.

Какое там блаженство! Хлеб-то есть?

## 20.

Послушал — как помоями умылся:  
 «мать-перемать», — совсем уже дошли. . .  
 Отец Булгаков знал: в глубинном смысле

здесь — гибель Богородицы-земли.  
 Она от осквернителей приметно  
 уходит из-под ног, и — ай люли!

— Всё балуешь оральным экскрементом,  
а вместо Родины — давно дыра.  
И что? — ухватисто да искрометно:

— Так перетак ее, эт сетера...

## 21.

Не потому «Свобода или смерть»,  
что, мол, на эшафот идут герои,  
а потому что стыдно разуметь

большой народ в короткоштанной роли.  
«Хвали начальство, а нето: бо-бо!»  
Молчать, мыча, доиться по-коровьи?

Выслуживаться: пиль или тубо?  
Когда бы камнем, как бы от — вращенья,  
не вылететь, — то было б не слабо,

а сладко умереть от... отвращенья!

## 22.

Бывало, едешь, вскинешься от дремы,  
на лица глянешь, — оторопь берет:  
в какие всё же рыла «из дярвени»

повыродился Муромец-народ!  
В картофель человеческий... Породу  
давно уже повывели в расход.

Теперь и к генетическому коду  
полезли — «бормотухою» травить...  
А встретишь личность — так летит к Исходу

в Мордовию. Или в ОВИР — фьюить!

## 23

Жилось, признаться, именно что жутко:  
размазан был какой-то ровный страх.  
И сверх, бывало, в виде промежутка,

навалится, и чуешь: дело швах.  
И думаешь: вот в Доме на Литейном  
твой следователь роется в делах.

Очередной донос подколет с теми,  
и папку — между папок, в тот же строй. . .  
А та — полна. Не лезет. Значит, время

брать субчика. — Нет, ворон, я — не твой!

## 24.

Срок отмотал, судьбу благодаря:  
«Я в будущем России поселился!»  
— Как? Неужели — снова лагеря. . .

«Скажу лишь: изолирует солистов,  
но хором пользуется дирижер.  
Вот: демократы, националисты,

религиозники — влезают в спор.  
А власть всегда ролями управляет  
наличными, — так было до сих пор.

В Мордовии, меж тем, готов парламент. . .»

## 25.

«Увижу ли народ освобожденный? . . .»  
— Не Пушкину, так Блоку довелось.  
Антихрист ли, Христос краснознаменный

гульнул, и снова в рабство впал колосс.  
— Увидим ли его в духовной силе?  
Ведь это всё, что нам хлебнуть пришлось,

по вкусу лишь КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ.  
Кого винить? Не ясно ль дураку:  
мы сами проворонили, разини,

какую Родину! . . . Россиюшка — ку-ку!

## 26.

Нет частной собственности — есть продукт,  
но трогать не велел хозяин-барин.  
— А как не взять: другие укрудут!

И тянут всё и вся в худом амбаре  
(да с гаерством: «Да я вас попрошу...»):  
тотально — толь и тюль, на стройке, в бане,

котам песок, объедки поросю  
(«Ну, мыслимо ли жить с одной зарплатой?»),  
пока страну не разворуют всю.

Зато покорно-пьяно виноваты.

## 27.

Туды — «шекснинска стерлядь золотая»,  
куда и «щука с голубым пером»...  
**ПОРТКИ БЫ МЫ ПЕРВЕЕ ЗАЛАТАЛИ!**

(Зато, видать, и лезем напролом,  
что стыдно отвернуть...) А ведь когда-то,  
как нас, кормили Землю мы зерном:

чего-чего, — пахали мы богато!  
Теперь вопрос: **ЧЕМ ДЫРЫ ЗАЛАТАТЬ?**  
— Смекалкой полупьяного солдата?

И — кто есть русский — Нищий? Или тать?

## 28.

Нас — не было. А были чудь да меря,  
да, так сказать, насельники полей,  
себя еще никем не разумея.

Но с печки слезли пошукать людей.  
— Что за река? — Дунай! .. Сады и пади.  
Богато. Хоть садись, и володей.

Как бы не так! Себе потеряли сзади:  
— Мы, стало быть, славяне, примечай...  
Отсюда в песнях: садо-виноградье,

а в реках и ручьях: Дунай, Дунай.

29.

Спасибо Геродоту — просветил,  
откуда суть пошли слабинки наши.  
А вышло так, что из днепровских вил

Зевес русалку взял. Ея появши,  
он (в сущности — Перун и Богогром)  
ДВУОСТРУЮ СЕКИРУ, ПЛУГ И ЧАШУ

трем сыновьям — дал, золотые, в дом.  
И вот с тех пор — мы, их потомки, вечно  
СЕЧЕМ ДРУГ ДРУГА; ВКАЛЫВАЕМ; ПЬЕМ, —

надсаживаясь под эмблемой вещей.

30.

Как труд умеет очернить субботу,  
так вот и мы — что толку, что сильны?  
Злоравенство, небратство, лжесвободу

мы взяли сдуру лозунгом страны.  
А как его сменить — не понимаем,  
когда и в стаде все разобщены.

И мучится родимая, немая...  
И душно, брат, — дышать и не проси,  
покудова земля не принимает

Главнопокойника Всея Руси.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 31.

Когда бы я по-прежнему жил там,  
сказав «УЖО», как пушкинский Евгений, —  
за мной не Медный Всадник по пятам,

а на броневике чугунный гений:  
«Та-та-та-та», — татарский злой прищур  
плевал бы пулеметною геенной.

И жест — знакомый, даже чересчур:  
«Он — там. . .» Петляю, в горле бьется рвота  
«Молчаньем уничтожу! Запрещу!»

Попал. Вот это — хуже пулемета.

### 32.

Для тех, кто больше к символам привык,  
она медлительно кожей-рожей  
не конь, и уж никак не броневик.

России на коровушку похожей,  
что негда так Платонову далась:  
не только молоком, но шкурой тоже,

и телом, и теленком поделаясь,  
к тому и защитит ни за спасибо, —  
такая уж судьба — такая власть.

— Хозяева! Воздайте кроткой, либо. . .

### 33.

«Не дай нам Бог увидеть русский бунт,  
бессмысленный и беспощадный». Пушкин.  
. . . Тебя же первого и загребут.

И — по соплям. И — гирькой по макушке.  
Звереем пьяными. Зато потом  
такие пайнькие сим-пам-пушки, —

самим не верится, что был погром.  
Ярмо пожестче — и порядок, вроде. . .  
Сначала справься там, в себе самом:

— А ну, как на духу — готов к свободе?

34.

Легко загадить мальчику мозги:  
«Труд. Деньги. Деньги-штрих». . . В лесу абстракций  
ни сущности порядочной, ни зги.

И кое-как, и как-то по-дурацки,  
но раскумекал кое-что простец,  
и — поражен: «Мы у Хрущева в рабстве!»

И вот накоплен, выношен протест  
(всё, что ни хочешь, вытерпит бумага),  
сочится, прямо капает подтекст:

«За Родину, за Сталина!» — Бедняга!

35.

Мы — по бесправью — равноправны все.  
Но нам и тут намного жальче женщин:  
они же — словно белки в колесе. . .

И как-то удастся ведь зажечь им  
в крови пожар, и в доме ореол.  
Воздать бы нашим любушкам, да нечем.

— Но почему: работаешь, как вол,  
а ни тебе порядочной зарплаты,  
ни отдохнуть, когда к себе пришел?

Поел — и спать. Всё бабы виноваты.

36.

Цыгане нашу душу вы-пе-вали,  
она буквально таяла, как снег,  
и струнные страданья всех повально

тянули в степь. Алеко. Скрип телег.  
И там-то мы в татарстве натерели  
и растрепали дух. Но интеллект

точили нам и немцы, и евреи.  
И наточили пуще палаша,  
хоть правду режь. В куски ее, острее!

Заг-а-дочная русская душа!

37.

Хотели взять всю истину зараз.  
Но сыворотка той сырой идеи,  
привитая, створаживалась в нас.

«За справедливость», вроде... А на деле —  
мы выжили-то чудом и тайком,  
на мессианстве собственном балдея.

Весь опыт был преступным тупиком.  
И все же он — по миссии — единствен:  
теперь, кто соблазнится о таком, —

знай дегустатора «заразных» истин.

38.

Не верят — пусть действительно проверят  
на нежных шкурках ино-вариант.  
Когда с походной кухней по Ривьере

он сам прикатит к ним — поговорят...  
Кой-кто надеется, что по идее  
ТАКОЕ — утвердится тут навряд.

Но мы-то знаем: цепкое на деле,  
крутое по вытягиванью жил...  
Лишь те помогут в общем обалдены,

кто БУДУЩЕЕ ПРОЖИЛ и — изжил.



## 39.

«За Родину, за Сталина, — за мной!»  
И все ж не политрук, а студебекер,  
нагруженный тушенкою свиной,

спас малолетних нас — хвала навеки!  
И — вы: но не стратег «любой ценой», —  
бесценные солдато-человеки,

которых тот угрохал в Шар Земной.  
И вспоминает, низойдя на отдых:  
«Как шли они за Сталина, — за мной!»

— Не трогайте. Отдайте наших мертвых.

## 40.

Развернутая как-то ОТ ВРАГА  
(с мечом Венера иль без крыльев Ника)  
бетонной тучей застит облака.

Мать Родина — по замыслу. Гляди-ка,  
сынов на смерть зовет кошмарный рот.  
За имя, да еще ТАКОЕ — дико!

За землю? Ни былинки не растет.  
За — в пятнах нефтяных — реку бурлачью?  
А Дон и Днепр — что, были не в расчет?

— Отдать, и приплатить еще в придачу.

## 41.

Подпасок уступил, а я и рад:  
забавно порадеть о поголовьи. . .  
Увлекся. И все лето пас телят

в послевоенный год полуголодный.  
Причем у стада был туберкулез.  
(Упали показатели коровьи,

план недоперевыполнил колхоз,  
и вот больных по окончаньи года  
сдавал он государству.) — Нет, всерьез?!

А — полупоголовие народа?

## 42.

Да, это мы толпою шли в народ.  
Учили: «Человек — от обезьяны.  
Все люди братья. Значит, бей господ».

Увы, из нас повыбили изьяны  
вот этой самой «будущей зари».  
Теперь учить и некого — все пьяны —

и некому. . . А, что ни говори,  
ведь мы и есть народ. Да, тот, который. . .  
И вот идем толпой в золотари!

В — наладчики, кондуктора, вахтеры. . .

## 43.

Ученый слой чинил верхам помехи  
и зависть размедвеживал низам.  
О бедствии предупреждали «ВЕХИ».

Переиграть Истории нельзя,  
но и за то спасибо вам, витии:  
хотя бы кто-то зрячим был не зря.

Кто были виноваты — заплатили. . .  
Кто дальше долженствует? — Мы должны  
растить растребушенные святыни

и покаянно звать «ИЗ ГЛУБИНЫ».

## 44.

Считается пока, что это — мода:  
раскрытый ворот и нательный крест.  
Из тех же, безобиднейшего рода,

что были при Тиверии, — протест.  
**НО КРОТКИЕ НАСЛЕДОВАЛИ ЗЕМЛЮ. . .**  
Пускай с фальшивой кепочкой протез

на место Бога влез без угрызений, —  
рассыплется. . . А Ты, Живый, гряди!  
Избави нас от пасти Колизея.

Зато и крестик носим на груди.

## 45.

«Ты без бумажки — нуль» — закон знакомый.  
Недаром из бумаги произвел  
китаец — страхолюдного дракона.

Доставил это чудище — монгол.  
Но, чем русей, тем чино-монструозней  
чинит оно стозевно производ.

Зубцами обнесло себя от козней  
и — лайяй. . . Как заметил де-Кюстин:  
Горыныча хоромы — Кремль московский.

Ему за меткость многое скостим.

## 46.

Нам указал покойный Белинков,  
что Чичиков — седок на Птице-тройке.  
Возможно. Пал Иваныч — он таков.

И некрофил, и скупщик. Но не только.  
По подозреньям (самым диким, пусть)  
В СОЖЖЕННОЙ ЧАСТИ он бы взялся с толком

покойных Селифанов и Марусь  
превоскрешать у прялки и орала.  
Так — не куда несешься, тройка-Русь,

а: — Господи, да где ты там застряла?

## 47.

Мы «красоту, спасающую мир»,  
(нисколько не желавший быть спасенным),  
пытались вызвать дребезгами лир;

полу-Орфеем, в пай с Анакреоном,  
а то и полным Блоком был поэт.  
Но пел «униженным и оскорбленным».

И если влет поэта бил дуплет,  
то публика тем самым признавала  
его куплеты делом — разве нет? —

«О злостном утвержденьи Идеала».

## 48.

Наш Федоров — прохладных мудрецов  
совсем отверг: все — путаники, дескать...  
И — силой — воскрешение отцов

готовил; по продуманности — дерзко.  
Во братстве об Отце — божествен труд.  
Наука с Церковью — в совместном действе

с Искусством и Войсками — обретут  
рабочий принцип сотворенья чуда.  
Расселим по мирам воскресший люд...

— Попробуем? Кто первенец ОТТУДА?

## 49.

Казалось бы... Но нет! За новой модой  
бечь, фалдами развеивая фрак,  
и по салонам размузычить модуль

церковного сознания — а никак!  
Иначе ж мы в несовременном свойстве:  
без вольности, без европейских благ.

— А если бы и не было их вообще?  
Их тут и быть не может! Чем же плох  
единственный из нас в небесном войске?

Всего один. Державин. Ода «Бог».

## 50.

Что лицеистам так, культуре — драма.  
Силен Шишков, а вышло-то по их:  
закляв себя от СЕМО и ОВАМО,

два шалуна сменили русский стих.  
«Онегин» — да, и здорово, и ново,  
и «Соловей мой» до сих пор не стих.

И все ж — какая выпала основа!  
Не против Пушкина я — «ох и ах».  
Но — вдруг — замолкло Игореве СЛОВО  
у Серафима в Саровских лесах.

## 51.

«А в Оптиной мне больше не бывать»...  
 Леонтьева-то нет; не та и пустынь:  
 кресты посшиблены — прошелся тать,

тотален, безнаказан, необуздан.  
 И глушит Божию нивушку — лопух.  
 Знать, на Святой Руси и вправду пусто!

Порастравил нам душу (или дух),  
 и дальше растревляет — Достоевский:  
 — А старец-то его: того, протух. . .

Что тут? Намек? — Так и Россия, дескать?

## 52.

Изыдет бес «молитвой и постом».  
 — Страна давно простится поневоле,  
 да вот молитву прочит на потом. . .

А был у нас рачитель над Невою,  
 боец ледово-лавровый за всех.  
 Но те, о ком предстательствовал воин,

кошунственно сгребли его доспех —  
 из серебра намоленную раку.

Он спит разоруженный, не успев

ни отразить, и ни простить атаку.

## 53.

По медному грошу, по пятаку,  
 алтыну да семишнику — богато  
 воздвигся храм на радость мужику,

избавившему Русь от супостата.

Явился новый: «К черту — срыть совсем!  
 Поставить здесь до неба Герострата!!

И — чтобы в голове сидел генсек!!!»  
 Пустырь и котлован. Проект распался.  
 Налили воду. Все-таки бассейн.

И — физкультура. И грибок на пальцах.

## 54.

Мольбу возносят «темные» бабуси  
о благораствореньи воздушных,  
и — благорастворяются воздухи. .

И плавающий — на плаву, сухой.  
И путешествующий сел под кленом.  
И за недугующим стал уход.

И — реабилитирован плененный.  
Земля родит, хотя и не сполна,  
и власть уже не душит миллионы

Народу. . . Странно, а стоит страна.

## 55.

Да. «Не стоит ни город, ни страна  
без праведника». Здесь творец Матрены  
прав полностью. Молельщица — она,

в платочке бабка, коих миллионы.  
Покрошит хлеб, и — паре у ворот:  
— Входите, двери храма открыты.

Помянет мертвый и живой народ,  
и — в очередь, зятю на опохмелье. . .  
К тому еще и внуков обошьет.

Те: — Бога нет! . . Она: — Мели, Емеля!

## 56.

Не только «Я — ТЕБЕ, А ТЫ — МЕНЕ»,  
но связи в целом — крепче на морозе,  
а при советских трудностях — вдвойне.

Целуются чины, как мафиози.  
У них единство, а у нас? — Держись?!  
Э — нет, и при начальственной угрозе,

тем более при ней, нужны, как жизнь,  
те, перед кем откроюсь без боязни.  
«ТАК — СО СВИДАНЬИЦЕМ!» Стаканы — дрызнь!

И — волны дружелюбья и приязни.

## 57.

Народ жалеет армию свою.  
К примеру, едет рота в электричке:  
«В ученьи тяжело — легко в бою», —

одобрит некто, подавая спички.  
«Кури, сынок!» У каждого по две  
гранаты, да патронами напичкан

Калашников. Да пот на голове.  
«Кури, сынок, гляди повеселее.  
Легко в бою. . .» Погон. На нем — ВВ.

— Воюем, батя, против населенья.

## 58.

Почтовый ящик. Нет, не на стене,  
а многостенный, тысячеколонный,  
с охраной — от обычного втройне.

Какие там сгнивают миллионы!  
Пустить бы на «портянки для ребят»,  
но нет. Запрет. И лозунг намалеван:

«ЗА БДИТЕЛЬНОСТЬ!» Секретно всё подряд —  
журнал из-за границы; марка стали.  
Успехи техники. Парт-аппарат.

А самый-то секрет — КАК МЫ ОТСТАЛИ.

## 59.

Залейся молоком, заешься мясом  
и, на желудок руку положа,  
выбрасывай костюм, когда измялся.

(Незанятость? — Пособьем хороша!)  
. . . Да сколько бы ни выплавили стали  
на ту же душу (бедная душа!),

Нормальный Запад нас кругом обставил.  
Признаем ли когда-нибудь? — Ну, да...  
Скорей — навесим на решетку ставень —

морить народ, и — врать: во всем, всегда...

60.

Какая крепь лесов! Какие реки!  
Громаднейшие избы. Старина.  
Селились тут, на Севере, навеки.

А — ни души. Вся жизнь умерщвлена.  
Кто этот ворог и откуда взялся?  
— А коллективизация? Война?

А весь подъем аграрного хозяйства  
с оттоком сил в промышленную сеть,  
с подснежной кукурузой — не сказался?

Тишайшая, умильнейшая смерть.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

61.

«Любите Родину!» — смешной приказ.  
Мы родины себе не выбирали, —  
какая есть, изрядно въелась в нас.

Правителей любить? А не пора ли  
страну с ее несчастьем не мешать.  
Но на каком-то там витке спирали

мы на хмельную голову ушат  
как выкатим! Трезвеющие люди  
хотя бы себялюбьем не грешат, —

сам испытал. Россия — буди! Буди!



## 62.

Разрыв-траву найдя, ее затырь;  
иди за третьим облаком, — увидишь  
бело-горючий камень Алатырь;

сверни налево; а на берег выйдешь —  
молись всюю угодникам святым.  
Тогда-то потаенный ГОРОД КИТЕЖ

всплывет из вод сквозь легкий полу-дым  
в колоколах, и куполах, и силе;  
в красе и славе... А за Градом сим —

намечтанная прадедом РОССИЯ!

## 63.

Так и бывает: подпят старушек  
филологи в поморских деревнях;  
те — в мыслях отойдут от постирушек,

и причепурятся, и: ох-да, ах-  
да как заколыхают звоны-стоны...  
Многоголосье! Глоссолальный Бах!

Свежо и дико, древне и достойно.  
И где-то там, где ты — уже не ты,  
запустишь диск... И — вот они, устои,

от коих дал ты, лапоть, лататы.

## 64.

...Но не поет! Идет на крик крещендо.  
Тысячелетье — разве это срок  
для отрока-народа от Крещенья?

До — отреченья... Видно, не глубок  
днепровский омут, где топили «прелесь»:  
Перун уплыл, Велес и не промок...

Ну, а в подростке силушки прозрелись,  
застыла кость неясного лица,  
и, кажется, вот-вот наступит зрелость...

Нашед себя, ищи, сынок, Отца!

65.

Здесь — наше сокровенное... Опора.  
Толпа-Мария входит за теплом  
в вертеп золотопостного собора.

Все так тебе утробно-близко в нем,  
что кажется (да не поймите всуе),  
Христа родишь молитвенным трудом.

Евангелъе грозит, благовествуя.  
Раздайся, Адов коммунал-сарай, —  
мы Истину рождем: Аллилуйя!

Ликуй, Исая, и — литургисай!

66.

Из двери деревянного острога  
главу просунул государствозавр:  
глядит, а там Европа-недотрога.

Скумекал все. И деву-Польшу взял.  
Чу! Звон меча о камень на пригорке,  
и глас: «Направо? А налево — лъзя?»

— Никак, драконобой идет — Георгий?..  
Гора времен. Пространства. Облака.  
По степи — ветерок солоногорький.

Сон. Пастернак. И веки. И века.

67.

И «баю-бай», и туго пеленами  
заматываем по рукам-ногам,  
(потом — иные меры применяем).

И — сказочку, как баивали нам:  
— Заметил колобок, что прутья редки, —  
дал дёру, а лиса его ням-ням.

Не убегай, катыш, от бабки-дедки,  
не соблазняйся золотым яйцом.  
И — волк заглянет в глазки малолетке

нестрашным человеческим лицом.

68.

Аршином не измерить. Но — безменом:  
противовес — исконнейшая Русь;  
чека — Урал; а на плече безмерном

висит пространства лесопустный груз,  
морозной беспредельностью укутан...  
— Боишься ли Сибири-то? — Боюсь.

В мешок таежный сунь любую смуту,  
и — нет говорунов. И — тишина,  
понятная в оттенках лишь якуту:

— Однако, молчаливая страна.

69.

Жевали хлеб, земелюшку пахали...  
Да сдернули кормильцев с борозды, —  
а то у них сознательность плохая.

Поехало хозяйство не туды...  
— Селу придут на помощь горожане! —  
ведял руководящие бразды.

Но — пальчикам картофель угрожает;  
внаклонку разболелась голова;  
изгваздались... А что до урожая, —

кому какое дело? — Трын-трава.

## 70.

— Скажи одно, а действуй по-иному,  
и вовсе третье вычисляй в уме.  
Сынок, запомни эту аксиому...

Ну, как тут разобраться (а — сумеи!), —  
когда отцепредательство в почете,  
и тут же — укрепление семей?..

За что: кто почестней — тот перечеркнут?  
А кто подлей — руководить пролез?  
И — вывихнутый мир сидит в печенках...

Шизофрения — жизнь, а не болезнь.

## 71.

Варяги, да татары, да поляки  
по нашим землям погуляли всласть.  
А за голландцем ряженным — и всякий...

Спасибо скажем, если примет власть.  
Есть, видно, зло в самой верховной силе,  
и взять ее — рука не поднялась.

Зато и Грозные не зря грозили,  
и латыши строчили в решето,  
и вырезали нацию грузины,

и спаивали вдрызг... А нынче что?

## 72.

Все заодно — новопородной массой...  
Штаны мешком, щетина бритых щек —  
обозначали с Родиной согласие,

энтузиазм, лояльность... Что еще?  
...А патлы — от прозападных влияний —  
с юнцов тогда срезались горячо.

Но моды непокорные влияли...  
Теперь в толпе на бороды взглянуть, —  
наружу лезут вятичи, древляне,

поляне, меря, кривичи и жмудь.

73.

Другие люди — русским не чета. . .  
Незаурядно все же: взять Культуру,  
и — нос отбить. Три буквы начертать,

и укатать ее до Акатуя.  
И затужить: где Та, что я люблю?  
Авось, уже вошла в волну крутую?

Поддать бы баргузина «кораблю» —  
той самой бочке в слизи омулевой. . .  
И ждать. . . И — пить. И кланяться Нулю,  
что в пиджаке повсюду намалеван.

74.

Покончить с этим пьяным окаянством!  
Закрыть Неву мостом бетонных плит;  
поверх — песком засыпать океанским

на толщу в километр. И пусть он спит.  
Забудется и место, хоть не сразу. . .  
Песок законсервирует, как спирт,

решетку в Летнем, пики, вязы, вазы,  
века. . . А заскребется Город-краб,  
и мальчик закричит стрекозозлазый:

— Глядите, эка! Ангел и корабль!

75.

Уже в какой-то мере ТРЕТИЙ РИМ  
(Четвертого нам не видать вовеки)  
мы на семи холмах московских зрим.

Наводят трепет кесари-генсеки;  
за шайбу — гладиаторов арен  
обожествляют ликторы и эки.

. . . Народы нефть подносят нам с колен.  
Роль Греции к лицу играть Европе.  
Америка, известно, — Карфаген.

ГАЛАКТИКА — СЕРЕБРЯНЫЕ КОПИ.

СОБОРНОСТЬ — это наш духовный верх.  
Но чуть не так, — своих же атакуем:  
отмежеваться — главное — от всех.

Сидит в любом из нас по Аввакуму,  
и кукиш мастерит из двух перстов.  
А то и разом — Разин и Бакунин...

И — проглядели трюк весьма простой:  
собор подложный выбрав по контрасту,  
мы до сих пор междуемся пестро...

Старинный лозунг: «РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ».

Ослепли от общественного глянца...  
и «Колокол» из Лондона звонил:  
— Нужна, как воздух, полная огласка!

Спустя столетье следовать за ним  
рискнули звонари из Техноложки  
(марксизм их полудетский извиним), —

но в Потьму привели сии дорожки.  
Безмолвствуют народы на Руси...  
И слушают, от тишины оглохши:

ревут глушилки. Лондон. Би-Би-Си.

Земля на Красной площади круглей,  
а если смел, то и поступок выше.  
Треть миллиарда, все-таки, людей,

но только семь из них сумели, вышли.  
Все в этот день по виду были «за»;  
я тоже был хорош, арбуз купивши...

Лишь офицеры прятали глаза.  
Ждалось дисциплинированным чехам,  
что в мире разыграется гроза.

— Коль семеро пошли, губить ли всех нам?

## 79.

Сначала долго сеном да навозом,  
 Да крепким потом пахло: русский дух!  
 Да порохом. А после — паровозом.

Вдруг шибануло бочкой — дух протух.  
 И страхом потянуло — гадко, липко  
 из коммунальных кухонь-комнатух.

Чуть форточку открыли по ошибке,  
 и — снова топору не нужен крюк.  
 Надышано у нас настолько шибко, —  
 висит и так, зацепленный за фук.

## 80.

Навертишься, — чем не антисоветчик:  
 убогость жизни, лай очередей. . .  
 А, скажем, выдается тихий вечер,

и примиряет с миром, чародей.  
 И кажется, что впереди, как море, —  
 наполненные переплески дней.

Не век сидеть в прокуренной каморе,  
 еще увидишь то, чего лишен.  
 И сколько можно числиться в крамоле? . .  
 Всё. . . Законный ангел сеет сон.

## 81.

Здесь, парень, ты не ходишь, а паришь. . .  
 Ногам — беда, а глазу — пир и отдых.  
 Поехали? — Шалишь! Пускают лишь

от нас ругателей международных.  
 — Да как же так? Вся музыка души  
 воспитывалась на парижских нотах,

а с Пушкина мы все нехороши,  
 невыездной народец третьесортный? . .  
 И только Чехов кашляет в глуши.

— В Москву, в Москву! — кликушествуют сестры.

## 82.

В Констанце уголь взяв, надраив бронзу,  
ступил морской утюг на полотно.  
Прогаркнуть предстояло броненосцу

отходную империи. Кино.

А в жизни он бы скормлен был торпедам:  
— «Сторожевой» восстал? Пустить на дно!

«Потемкину» в кильватер, тем же следом  
балтийский миноносец лег на галс. . .  
Столбы огня с неделю снились шведам.

Никто не выплыл. Режиссер солгал.

## 83.

А, может быть, твердить еще больней:  
— Да, мы рабы, рабыни и рабенки,  
достойные правителей, ей-ей? . .

Не цепи нас неволят, а пленки.  
Мы колокол отлили вечевой,  
но где же к вольности призывы звонки?

И — тянем государство бечевой,  
ракетный флагман — ляжкой — прочь из кожи. . .  
Да, мы — рабы, а что? — А ничего:

не раб, но соработник нужен божий.

## 84.

Тайга — закон, а в ней медведь — хозяин.  
— Возьмут за копчик — и окоротят  
отнюдь не пустилайки, — в наказанье. . .

— Ну, этих-то стряхнет он, как котят.  
Вот ежели дракон из бывших братьев  
пойдет на братьев-медвежат. . . Хотя



еще увидим, так ли нас попрасть им:  
до тошноты отвратно, аж трясет, —  
под новую Орду подпасть, обратно,

среди народов слыть за третий сорт.

85.

Со сроком жизни что-то не тое,  
не повезло: недолго время длится;  
мы — из небытия в небытие —

на дереве народном только листья.  
Лишь бы успеть напочковать ребят,  
напечатлеть, как вести, наши лица.

А у народа выдох — листопад.  
Империю крошатся — что там личность!  
Но жилки в нас трепещут невпопад:

— Из времени ни одного не вычесть.

86.

Юнейший, он сказал о несказанном,  
и Демона достиг пареньем строк.  
Твердил одну молитву. Но Казанской

не шел его облитый желчью слог.  
И, мучась от красы невыразимой,  
он выразить ее так и не смог.

И вот: «Прощай, немытая Россия!»  
Она его простила в смертный миг.  
Соборую, грозую оросила. . .

. . .Нельзя такое, как ты ни велик.

87.

Приписываю вещему Бояну:  
по русской степи ехал Святогор,  
пресытись богатырскими боями.

Вдруг — сумка, гордой силушке в укор.  
Поднять ее натужился бедняга.  
И — в землю по колено... По сих пор...

(А в сумке той была земная тяга).  
По горло... По макушку... Весь исчез!  
Но сила от его перенапряга

до океана тянется, и — чрез...

88.

С крыла летят корпускулы и кванты,  
и — в облачно-молочный океан,  
и в Атлантический, и звездно-ватный...

В наушниках — Бах, Гендель, Мессиан.  
Препоны разрывает аэробус  
прозрачные — прозрачных марсиан,

с натугой разворачивая глобус  
за Солнцем (тенью Бога) по пятам.  
— Россия? Слышал. Есть такая область.

Верней, была. Когда-то, где-то там...

89.

Ползут по сердцу слезные расплывы,  
и облачные тени — тут и там,  
где так Христовы старицы красивы

со звездами по синим куполам.  
Холмы. Белоберезовые рощи.  
Поляны и дубравы пополам.

И соразмерно все, и что-то прочит,  
и прошлое с грядущим заодно...  
Вот здесь и лечь — нет сладостнее почвы —

и натянуть на голову дерно.

Да не сочтется эта речь за наглость:  
— Не «Городу и Миру», — ей о ней,  
стране моей сказал я с глазу на глаз

ей-ей же правду... Издали видней.  
И ежели я не увижу боле,  
как говорится, до скончанья дней

картофельное в мокрых комьях поле,  
сарай, платформу в лужах и вокзал, —  
ну, что ж, пускай. Предпочитаю волю

Умру зато — свободным. Я сказал.

*Петроградская сторона 1977—  
Милуоки 1981*

## ЖИЗНЬ УРБАНСКАЯ

### 1.

Приезжай! Здесь, представляешь: небо,  
где шаров и баллонов — что облаков, —  
направлено к Пасхе. Да и — треба  
потрепаться о жизни, где я таков.

О незванкой. Не потому, что «не звали».  
(Звало всё: даже сам запрет,  
и сезамы, и сальвадоры дали. . .)  
Но потому, что Званки-то нет.

А есть — иное. И надо: из-  
(маленькая, как прививка, смерть),  
и — по аглички. . . А ты не бойсь  
живым, и — на Тот Свет!

И: за-; и в-, словно глаз под веко, —  
на прогулку гулкую за кордон.  
Америка — это библиотека.  
Два берега. И — мой дом.

Где мимолетом гоняют кроссы  
полуголые ангелы, и: гули-гули  
о том, как фиалки да крокусы  
листки порасстегнули.

Посреди кукурузного океана,  
в середине Мира, где пуп, —  
графство Шампанское (да, так!), Урбана  
и — сердцем ткнутое: тут.

Тут. Потому что досюда — дойдено.  
И — в тутошнее вбычилась ось.  
А если Воля — не там, где Родина, —  
так даже бабы, и то: не нашлось. . .

Да простят меня любо-люды и милы,  
я ведь верил вам: ваво- и юле-веры,  
и вы были со мною милы (в июле).  
Но встречной, увы, я не увидел веры. . .

Вот «про это» я тебе и толкую:  
— Женья, найдешь крутопопую  
пуэрториканскую эдакую, такую, —  
вдову протопопову. . .

И — в Минехаху, а то — в Кикапу,  
в Пивуоки, в Чатанугу с Чучею,  
на чувачную — ту, что по броду — тропу:  
по раста-барам тебя попотчую. . .

А в полночь — банальней, чем Травиата, —  
у поэта (за это!) попросят автограф  
только на чек. . . Да, в тридевятом:  
кто с шампанским, тот граф!

Но. Если Москва бьет с носка  
(для тебя это отнюдь не эврика),  
не расслабляйся и здесь пока,  
ибо — мордой об стол — Америка.

## 2.

Осеняемый кленом и ясенем  
он стоит, небольшенький, да мой,  
что моим рас-шампанским сиятельством  
называется: «дома», «домой». . .

Дом. . . Не даден двубортнейшим дядею,  
а: недвижимо-собственный, свой.  
Он и в Званку тебе, и в Аркадию  
обращен и сюдой, и тудом.

Да, и труд, а и жоржики-денежки,  
и долги, да какие (ништяк!),  
без которых не дернешься-денешься. . .  
Я — так точно. И тост натошак

так и просится по-Северянину:  
— В луны — выдави солнечный джус!  
Веком заживо посеребряемый,  
ничего, — моложавлюсь, гожусь.

Да и сколько бы лет ни урезано:  
только с тысячью — вместе на слом! . . .  
Жизнь такая интекуресная, —  
люб любой: или день, или дом.

Урожаями грузно-беременна,  
с полу-мельком японских «тойот»,  
здесь кругом кукурузная прерия:  
— То ль не любо, товарищ койот?

Иллинойщина — вот она, вотчина,  
край початочный, как при Хруще...  
Наша с Лялей: Урбано-городчина,  
рай шалашный — и так! — вообще.

В смысле: в этом сместительном таборе  
всё овамо и тамо, — путем...  
И кибитка моя — комфортабельна.  
Средний Запад. И я тут при том.

В купах гинкго и вкупе с секвойями  
до чего же мне нравится свист  
кардинала за мягкими хвоями:  
преподобен, а как голосист!

Попахав это поле страничное,  
хорошо: деньги вкладывать в рост;  
стричь лужайку, где смотрит придирчиво,  
как в мундире инспекторском, дрозд.

И зверью тут — лафа, жированьце;  
всякой твари — по паре, всем — дом.  
(Братец кролик, а прав добивается:  
забастовками, что ли? Судом?..)

Хорошо: колесить, куда хочется,  
словно геммы, глядеть города  
(кроме бывшего хмурого Отчества)...  
Погулял, и — до дому. Сюда.

### 3.

А если Вену, Рим, Берлин или Париж  
ты с ходу про: фу-фу в воздушном перемахе,  
то это место — здесь, где оду ты родишь, —  
американский супермаркет.

Что да, то да: дают... Дрозда, и вообще!  
Вот это — торжище, до горизонта — снеди:  
хеопсы разных блюд, кавказы овощей  
под блюз, и в мыслях об обеде.

Обрызган пырьсю льда, курчавится латук;  
пучками рдятся бело-пыпочки редиски;  
темно-зелено-злющ, и связан в ликты: лук...  
Не оду — ты, а сам: родился...

В мороз, а и в жару всегда прохладнопуз,  
то — оклубничен, то — в картечинах черники,  
с пупами-дынями здесь бабится арбуз.  
Ему и козыри — не пики.

Не вини-козыри, но кстати о вине...  
Всё серебро в Шабли, а золотишко — в Рейне:  
калифорнийская лоза, она вполне...  
Сама ползет в стихотворенье.

Как с нею хороши: креветок нежный хрящ  
и жирных устриц слизь, что спрыснута лимоном;  
с кедровым ядрышком форель: поджар хрустящ,  
а мякоть — с розовым изломом.

Там пальмовы сердца секутся на куски:  
где спаржи пук — Шекспир, а Пруст — ростки фасоли;  
и Джойсом артишок: то иглит лепестки,  
то с маринадом расфасован.

Вот лазает в воде чудовищный омар,  
а, скинут с кипятка, зане прекрасен витязь,  
что — красен, и в броне. Крушите, стар и мал,  
с топленным маслом насладитесь!

Вон кружка: бок в росе и пена набекрень, —  
отрадно-горек Пабст, и Огсбургер, и Пильзень.  
Колбасный арсенал, ветчинный потетень!  
Копченых дрынов полный список...

Но если угощать — тогда в 2 пальца стейк,  
и — 5 минут на сторону — на гриле...  
Прости мой англицизм, — я точно не из тех,  
кто б волапюком говорили.

А просто слов таких в «забавном слогe» — нет.  
По-русски ли сказать: «бифштекс» и «на мангале»?  
И прыщeт сок мясной, пока мы с Каберне,  
а то — с Бургундским налегаем.

Все в общем удалось. Плесни на дно коньяк,  
давай расслабимся. . . Теперь стихи попросим  
друг друга почитать. — Полцарства за коня,  
за папиросу б! Да курить я — бросил.

#### 4.

Кто отхватил сии: и земли, и стада?  
Аэропорт, отель, театр — кто заграбастал?  
Кому принадлежат сады: туда-сюда? . .  
Ты прав: маркизу Карабасу.

Ему: и даже тот за дальним полем лес. . .  
Его — издательства, и зданья, и газета;  
его и ловкий кот, что в сапоги залез:  
маркиза Университета!

И даже я, его с проплешиной вассал,  
взял греческое «Пси» и жестом «Тэту» кинул,  
Орфеем эдаким, и оду возбрыцал,  
урбанистическим акыном. . .

Что вижу, то пою: зрю — Университет, —  
луг — и студентами вдруг запестревший кампус.  
Кто — с голубым пером, кто в тоге, кто и нет:  
афро-корее-инде-канцы. . .

Чему учен, учу: с 12-ю моих  
я под пятнистым и развесистым платаном  
витийствую вовсю. И вместе русский стих  
мы расплетаем-заплетаем.

Не чудо ль, что среди венеро-марсиан  
«Соседа Котова» сужу я по науке:  
виршеслагателя, цензуры — где изъян?  
В России бы не зрели буки.





Исчезло? Нет, — сгорает однобоко:  
накучерявлена, одна щека горит.  
Его убудет ли у Бога, —  
останется отель у города Харибд,

что так и гложет лакомые туки,  
высасывая мозговую кость,  
шикарный хрящ  
архитектурной штуки...  
Пахнуло вдруг, и пошатнулся гость.

И пыхнуло: не хватит ли кондратий?  
(О, только не сейчас!), (не, здесь!)...  
Но то, что пшик пройдет:  
о нет, и нет, в квадрате!  
И — не надейся!..

А — дюжиною воспаряясь лифтов,  
на семь частей распятерясь  
в разнонаправленно-разлитых  
пространствах, — выйдешь ли на связь?

На: собственно, — гетерополовую?  
(подванивает холодком),  
шпионскую?.. Или еще —  
через пардон — какую? —  
Откудова и кубырь — кувыркком?

(Но пазуха в отеле, — как рубаха:  
что тут — уют, через этаж — мотыль!  
Термитный прах... Ремонт.  
И рядом — похоть паха.  
И — вакуум, где — пыль.)

(Украдкой — кокаин благоуханно  
просыпан прямо на ковер;  
под дверь, как выхухоль, —  
нюх-нюх: марихуана...)  
И тут же — (нет!), как вор...)

И тут же, да, — долдонят, поджидают;  
но встреча — не с руки:  
один — жирноулыбчат;  
с ним — гидальго, —  
трагикомические старики,•

коми-трагические, фарсо-драмо-  
лирические, так сказать...

(и некто босиком  
пересекает прямо  
до лифта перепрыгов пять.)

У одного — белопечален облик,  
(и в пику вставлено перо),  
но жизни — оному — в обрез,  
как и у облак,  
которым исчезать порой пора.

Истаяло... Такое — как случилось?  
Пропало облако, пока я лопотал, —  
в пучину ли его ушли,  
в ничто, или на силос,  
и (кто-то) по пятам...

(Путем протоптанным,  
но все же новым,  
когда ни-ни назад);  
и поневоле в том  
как бы и ты — виновен...  
А — как? Да и: кому сказать?

Встал, выключил муру...  
Темнело.

Под потолком просеребрился мотылек.  
И судорогой точечного тела  
он что-то пепельное прочертил  
(как бы... изрек?).

Откуда — моль?  
Хлоп-хлоп, но мимо...  
Вот-вот, и тут, и — там, и — нет в момент!  
— Не трогай! То — душа,  
что только так и — зрима...  
— Посмертно, а сорвал аплодисмент!

*Урбана, март 1986*

## ЧЕТВЕРО

Парк машин подъездной,  
проходной полусад,  
здесь 4 ствола вот так и стоят:  
темно-серых, чешуйчатых до самого сrostка  
там, где хвоя у них наверху,  
с виду нежестка...  
В облачных перьях над ними,  
над местом видны  
крыло-лапых 4 сосны.

Размахайны их профили;  
патло-лохматое  
время отхиповало когда-то...  
Их неймет ни сякой снеготай,  
и — ни листопад, —  
в зелени остовы их, не таясь,  
покуда живые, стоят,  
черным на небо наляпаны:  
четверо сразу  
всунуты в воздуха красно-надбитую вазу...

...Старости и зари.  
Врозь пока; но уже завелись визави:  
закидон сразу двум,  
а есть ведь и третий;  
покартиниться хочется,  
заново,  
что упущено — встретить,  
вспомнить былые рутины,  
ритуалы тщеты...  
Или же это 2 остывших четы?

То, что грело, то стало:  
прахом и пылью — из пыла.  
Видно, с первых примерок  
всего-то и было:  
рост,  
да совместные опыты по добыче блаженств.  
А воздетые длани —  
не в местных традициях жест...  
Им с отвычки бы пере-того эти пары,  
чтоб остро и вдосталь...  
...Да то же и будет,  
за вычетом, разве, удобства!

То же, и — боль невтерпеж  
вызведит обязательно,  
если 3 плюс 1 у аншлюса расклеш.  
Воли — с противоволями  
столкновение лобовое;  
любовь пожирается ревностью  
и — обратно любовью.  
Ни единого выхода,  
крут и кругл треугольный мирок...  
Плюс еще один ежится, одиночек.

Одиночество —  
вот венец абсолюта,  
вот где слезы разводами отольются...  
Сладко ль с другими гореть? Сам сияй.  
Одиночество — всех и вся...  
Одиночество четверых,  
даже с другими рядом,  
даже древесное — под и над  
пламенными:  
Парадизом и Адом.

*Урбана, нояб. 1987*

## ОБЛИКИ

### 1.

Блеснет высокоскулая раскосо  
и — в узости замкнет меня, темна...  
Где, зренье поощряя, хрящик носа  
отбросит полутень в полутона

под челкой вороной. А с губ, а с лоска,  
со, словно месяц, маленького рта —  
гляди: взлетает желто-злая оска, —  
ужалит враз! А ты-то: та — не — та...

### 2.

А эта вот: не тоже ли оттуда?  
Раздваивая образ-абрикос,  
я облики рисую, 2 сосуда  
так, чтобы светом таял алебастр.

Получится ли? Потому что — гибка  
и хрупка с полусолнцем за ушком,  
сама — цветок, улыбка и голубка,  
по ноздри в злате, ходит босиком.

И то: могла бы плыть, лететь!.. На лире  
могла бы мглу: бряцаньем — разменять.  
А так серебро-зеленое колибри  
высасывает сердце из меня.

3; 4.

А смуглая, она (оно), — иное:  
в межбровии — навывлет — лепесток...  
Сквозь лоб я вижу мозг. И вот что внове:  
еще не Запад, ни уже Восток,

но — вместе; и причудливую вазу  
невидимо на голове несет  
и радужно, и затененно сразу...  
И — прыщут пятна красок и красот.

И — юнь юнейшая; а я — на убыль,  
ее июля чтец и лицегляд, —  
нет, и да: я ей не для прелюбы...  
Для: образ от безлюбья исцелять.

5.

Те были облики легки — кто: вечер,  
кто: полумесяц... Лишь вот этот: ночь.  
И девий, да, но и не человеческий  
(звериный, что ль?) разрез ленивых оч.

Ее весь абрис выписан иначе,  
хотя Прообраз — и един, и общ!  
Ей, словно: целый мир еще не начат;  
вся — лишь о ней — творительная мощь...

6.

Куда тебе, гляделец лиц!.. Младое  
навстречу смотрит: из, и сквозь, и чрез  
сиреневых, как у Лилит, ладоней  
и этих ярких, медленных очес.

## 7.

Взгляд отводя, очнешься: от: чего же?  
Свидания, не так ли? Только где?

— В зрачках, конечно, воткнутых до дрожи,  
на миг, на переморг ресниц, — нигде. . .

## 8; 9.

И — вновь уловлен. . . Чем? Поводкой брови ль,  
миндальных, стоп; (скорей, — маслинных) глаз?  
Но прям не по медалям этот профиль —  
по выгибам краснофигурных ваз.

И — правильно, и хорошо, что склонна,  
и вовсе не к чему-либо, а от-,  
а из — античных мраморов — и в лоно  
сиюминутности, мгновеньями живет.

Капризничает. . . Загляденье, чудо:  
запястий тонких, сильных плеч и рук. . .  
Что этот знак? Приязнь? — Да не хочу я:  
там — зренью делать нечего; каюк.

Там сердце: тут как тут, — и вспых контакта,  
смеженье глаз, приоткрыванье губ,  
касания тактильное стаккато. . .  
— А вот и нет! Я — буду: взглядолюб.

## 10.

Как ни хмельн тяжелый винный улей,  
не там, не тем утешен водохлеб,  
но — лепоте, лепнине всех июлей  
предпочитая взгляд. И — лоб, и лед!

И — весь прохладный лад: льняные дали  
ее, ея, которую я зрю, —  
на выморг ока только, навсегда ли, —  
такую не зазорно, как зарю

вос-созерцать! Но пристальные зерна  
несносны ей. . . Ей-ей, наперерез  
рванется, передернется озерно,  
и севером обдаст мой интерес.

11.

А: вот какой закончу (ну же, ну же!), —  
вся — легкая, а жилами крепка.  
как полдень — рыж, так солнечно веснуща  
(что с розой, что — с оружием) рука.

Такая встретит прямо все прямое:  
взор, вызов. Если вынес — берегись.  
С вот этой и в степи тебе — приморье;  
при жизни — чёт и нечет. Парадиз.

12.

И только с ней благословенна узость,  
и — самый низ души — пошедший ввысь.  
На полчаса хотя б, замолкни, Муза!  
На пол-сейчас, пожалуйста, уймись.

*Урбана, нояб. 1986*

## ХОЛМЫ ИНЫЕ

Гор не было. А были взгорья.  
Скорей — холмы. . .  
И электричку не святой Георгий  
прокалывал из тьмы.

С Финляндского, считай, вокзала  
она, скорей сама,  
стреноженную тьму пронзала,  
и — стенала тьма.

Морщило сырым и бурым  
огнем — окно;  
луч по нахмуренным фигурам  
плыл розово-темно.

И, хребтом дракона,  
рукой подать, а далеки,  
назад скакали заочно  
то Кавголово, то Юкки.



Дух влажной шерсти, нет — вигони,  
попахивая, плыл,  
и пол в полупустом вагоне  
передавал моторный пыл.

Хотелось: лета на пригорках  
среди курчавых роц  
в овражных Мустамяках, Териоках,  
чтоб хрущик сел на хвощ.

Там — пропащую подругу  
надеялся найти,  
жить в бедности, снять в доме угол.  
А всё — не то, не те. . .

Нашел. . . Хотя — потом. Хотя — другом  
сам за моря уплыл.  
Стал вроде гуру:  
совсем заважничал, увы. . .

Но, проезжая Массачузетс,  
остановил кабриолет  
на миг. И, взглядываясь в чужость,  
установил, что в мире нет

того, что не случалось прежде.  
Всё — было. И — холмы,  
и та же в них надежда брезжит,  
и брызжет свет из тьмы.

Хребет земли, зубцы дракона,  
пригорки и бугры,  
где листвою кучерявится дреколье,  
и тянет прочь из игры.

Неужто, повтореньем тошным  
в следующем краю,  
и даже за-, увижу то же:  
в Аду, в Раю?

— В Радо-Аю!

*Урбана, май 1988*

## БАНТ

Былого перехлестнутые петли,  
начала и концы еще не бывших лет  
и наши дни, связующие. . .

— Спеть ли  
с таким узлом на горле?

— Да. . .

— Нет,  
ты напрасно мешкаешь и мнешься:  
отнюдь не наобум — тебе звучит набат,  
чтоб душу выдернуть из-под телесной ноши.

— На что  
она теперь? Сгодится лишь на бант.

— Бант  
всеми нашими, увы, давно уж об-иронен.  
В быту он странен. Означая свих,  
бант — это бунт. За то поэт Еремин  
его-то и носил, чужой среди своих.

И было нелегко блондину-футуристу  
стоять на самости (а виделось: хоп хны).

— Но душу?  
Ведь она ж потом не повторится,  
хоть что напяливай, хоть силуэт страны.

Но этого не трожь! А ты — лишь бы:

— Заметьте!  
Готов на все стареющий артист, —  
на выходку, на выход, вплоть до смерти.  
Гнилой ли апельсин, аплодисмент ли, свист, —

что б ни было, сойдет под занавес финиты.  
Поправив бант на опорожненной груди:

— Кхе-кхе,  
полупочтеннейшие, вы уж извините,  
мы будем и позорищем горды.

Среди своих, да и чужих, — чужие;  
никем из вас не выносимые на дух. . .

— А те  
старушки италийские — чи живы  
на пьядцах у скульптурных деревьев?

— Ну те-то —  
не о нас... А тут — иная пьеса:  
бант распушив, кривляется паяц,  
что исписался и вконец испелся,  
и — упоен собой, провала не боясь.

Но бух! — и к лабухам. Из оркестровой ямы  
взываешь к небесам:

Оттуда прозой:                   Отверзшись, твердь!  
— Что шумишь,  
и кто ты, окаянный?  
— Цыпленок  
жареный, — вот правильный ответ.

— Пройдусь  
по Невскому, чтоб крепче всех эссенций  
слова слились в последнюю строку,  
что с клетотом уже летит из сердца —  
мое прощальное:

— Кукареку!

*Урбана, июнь 1990*

## ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ

От фужеров, от — дзынь! — с юбилярами  
рвался в пропасть, которую он  
звал то Хельгой, то Ольгой, то Ларою  
облапошенно, вусмерть, в разгон...

Да конечно влюблен, что опошлено.  
— Перекличу слова, как Адам,  
но тебя — их с ухмылками полчищу —  
ребряную мою, не отдам.

— Почему, ради швали и убыли,  
даже ряженым обликом лги, —  
как по делу куда, не подумали б:  
прорезиненный плащ, сапоги...

То, что любящим — веянье вечного;  
подглядывшему — низость и грязь...  
Что ж грешнее, и что тут увечнее:  
нагость их или тот наглый глаз?

Мчался Вертером, ветром и Фаустом,  
на заборы косясь: не следят?  
Тыкал в тело навыхват ухватистым,  
эксгумированным, как солдат.

— Почему: что для любящих высшее,  
или как либо с высшим на — ты,  
то позорится, на люди вылезши  
через под наготы — красоты?

Обнаженьем омыв унижения,  
сняв касанием всю эту ржавь,  
удивлялся себе ж: — Неужели я  
и любим, и еще моложав?

Ведь она, как не знаю, — соломинка,  
и распахнута без экивок,  
вся — охапка сияния ломкого,  
теплоты и расплыва глоток.

И ладонями, пальцами зрячими  
всю до сердца ее прозирал.  
— То — душа этим телом означена.  
Это ж твой, идиот, идеал.

— Так рисуй! Но не слезно-щипательно,  
а как если б совсем не знаком:  
то, что выпукло, — кистью и шпателем;  
волосянку — всегда колонком.

Рисовал, и совал, и размазывал,  
в ухо — глупости жарко влагал,  
обожал ее розовым разумом.  
Даже имя лизал по слогам.

Звук ли, абрис ли? — Охра горшечная,  
что скрестил я с текстурой холста, —  
ты сестра мне по жизни, ты — женщина,  
выйди в поле пустого листа.

Пусть отравятся все — и по-разному...  
Но, отправясь к иным берегам,  
я красу на прощанье отпраздную,  
и — такую — пушу по рукам.

*Урбана, март 1990*

## РЕКИ

Часы поставил по Большому Бену,  
и тот отбил увесистый о'клок,  
заезжему (тут все равно — нацмену)  
настроив слух... Чуть не оглох.

...Вестминстерским и министерским боем  
с подзвучием зубчато-золотым...  
И вздох колом, и площади покоем,  
по коим носишь, неприкаян,  
за пазухою — Алатырь.

...От пращура наследный камень, —  
как выкинуть? Куда? — Вот и Нева...  
— Окстись, тут мимо Темза протекает,  
ты не на тех берегах, образчик меньшинства.

И, всматриваясь в эти мути,  
предтечествуй, припоминай, предвидь.  
Какие плыли крупные минуты,  
и — ничего; и новые минуют;  
а были псалмопевны, как Давид.

Но — выпало на кон: 2—3 заката;  
в пыланьях — вся река, по самый парапет...  
Гналось: туда, еще за мыс, где как-то  
судьба исполнится. Но нет.

...Входил в прохладные соборы,  
и в усыпальницы, и в спальни королев;  
решали гиды, скоры-споры, —  
куда кидать (напра-, налево?) взоры...  
За мзду туда пускали, обнаглев.

Но что помимо черни, это: реки,  
текучий вывих двух отдельных Двин,  
потоки памяти, которые, как рекрут,  
форсируешь один.

Вот Волга... Смысл? Ведь — был, да вышел:  
фазанами мазут, пейзажами народ...  
Бетонный стоп воде; нет монумента выше:  
— Умри за клок земли, пусть он загажен, выжжен! —  
плотина-Мать на осетра орет.

Он — оземь из воды. А было: люд — на гибель  
во имя имени... Или — имен? Имян?  
Навороти любые глыбы, —  
всё в прорву унесет река времен (времен)...

...Как Моцарт сочинял в скрипучих зальцах  
солнцестремительный клави́р  
и вниз в колбасную бежал отведа́ть сальца,  
(так и летят из Альп Изар и Зальцах,  
зеленоструйные), и ноты не скривил.

Не то — иные... Он величия не ищет.  
Гнездо соловье держит детская рука,  
сперва касаясь крапчатых яичек,  
и клавишей потом, или смычка.

А в наши мути-памяти вместились  
Куры и Тибра мели и прыжки,  
Гудзона черный блеск, меандры Миссисипи  
и Сена серая, за то и всем — спасибо:  
закрой глаза, и — у реки.

...А с Эйфелевой верхоты — и вовсе  
до невских кронверков и шпилей — напрямиком  
2160 плюс 8  
последних километров. Хоть пешком!

Но сердце белое Монмартра  
и холм председья — заслони́ли взгляд.  
Туда — наметил я на завтра.  
Взобрался. Дождь полил внезапно,  
в минуту все смешал: Восток и Запад...

И я пошел в гостиницу назад.

*Урбана, нояб. 1987*

## ГОРОДА

Полузатопленный загнивший Петербург  
и Загреб чопорный и черепичный, —  
какие города! Какие — вдруг —  
живые черепа и котелки для пищи,

для пиршества, для нищенства, и горше. . .  
Такие города, как шляпу, протянуть,  
глядишь, и обронит волшебный грошик  
негоциант, колдун, крылатый кто-нибудь.

Есть горе-города, есть города-гордыни,  
они скребут мой череп изнутри  
крестами, башнями, что в них нагородили  
святые зодчие и плотники-цари.

И я там хаживал и сиживал, бывало,  
в том наи-самом (что уже — клише)  
кафе, где все бывали, у бульвара  
в Париже-празднике, и в Лондоне-левше.

Там, как из cedры сок, так цедится минута,  
в любом из них прожить всю жизнь бы! Но —  
одна, и коротка. И крепко перегнута,  
и — чуть не пополам. Такое вот кино. . .

Мелькают в нем расплывы, перебивы,  
мчит «опель» напрокат, конек-возок для двух. . .  
— А те старушки италийские, чи живы  
на пьядцах у скульптурных деревьев?

— О чем они тогда, чуть мы — за угол?  
— Какая разница, а если и о нас?  
Рим, например, был мне подарен другом  
так, просто ни за что, в хороший час.

И я ему в ответ — вьюном увитый,  
весь в разрезных гвардейцах, Ватикан  
желто-лиловый. . . Там его правитель  
на языках при нас Глаголу потакал.

А вот Венеция — сама, туман отдунав  
с лица, дарила дождь, как дарят поцелуй, —  
и грима не стерев, мол, и не думай,  
бери, что дали, больше не балуй.

Любимая! И в горле — ком от счастья.  
Сейчас я Плитвиц плеск тебе дарю,  
где струи без числа журчат, летят, сочатся. . .  
А мне бы — только храм на рю Дарю.

Там так настраждено (а внутрь зайти не вышло),  
намолено изгнанничеством, там  
накаждено, поди, до клироса и выше —  
всё по российским весям-городам. . .

Из них, так и не взят, один остался Китеж.  
Тут и соблазн: а если Китеж—Кремль,  
то что тогда? Исполнившись, какие ж  
извечные мечты увечатся, и кем!

Есть города-голгофы, но без Бога,  
есть города, где гроб туризму напоказ;  
как яблоко, Нью-Йорк, что грыз я; грудь-Гаага,  
где не был никогда, но в следующий раз. . .

Зато у Майи в тропиках: — Гляди-ка, —  
до неба паперти, так и зовут — залезь!  
И я туда влезал, а вниз — и думать дико. . .  
В мозолях каменных весь город-мавзолеей.

Но старосветские милей мне будут кручи:  
Дунай-Денеб, из Буды вид на Пешт,  
и вид обратно. . . Вдруг: мадьярский кучер,  
и — «опелю» капут; я снова буду пеш.

Мы, впрочем, с городом помиримся в июне:  
одетая водой, глядела дева вслед. . .  
Расстрелянный фасад с балконом — наша юность,  
сочувственный мятеж, плащ, автомат, берет.

Фасад в избоинах, раздавленные жесты, —  
такие города встречаешь, как себя,  
как сверстника тех лет, самосожженца:  
— И, свет сильнее жизни возлюбя,

ты, Прага, всё горишь, свечами оплывая  
на площади среди других святынь!  
А нищий лебедь клянчит каравая,  
и острогой на всех замахиваясь, Тынь

торчит. . . Пора, — отдав поклон великий  
мостам и рыцарям с Марининой горы, —  
туда, где Вена взбила каменные сливки,  
гульнуть, где столь крылаты алтари.



Нам путь укажет бронзовый философ,  
заметь: не полководец, — верный путь,  
но я устал. Домой. Пыль отряхнуть с волосьев,  
при перепрыге через океан вздремнуть.

— А этот город — что? — Чикаго... — Градозавр!  
Слегка потрянуло. — Слава Богу, а могло бы...  
Вот и Урбана, где пишу, где взял  
да точку и нанес читателю на глобус.

*Урбана, авг. 1990*

# ТРИ НОКТЮРНА

## 1. НОЧЬ ИЛЛИНОЙСКАЯ

Не вечер: череп дня, и месяца, и года.  
Повысыпало звезд, а Сириуса нет...  
Но вылез Орион. Он в яме небосвода  
запястью мертвому наблещет на браслет.

На целый клад, на склеп и труп насветит  
владелице нагих над нами нег,  
Америке небесной, где все эти  
понасорили скопом на ночлег, —

сюда сойдясь, — цари, чудовища и птицы,  
намусорили — чем? — своими же костями...  
И Хартию таких, как подписи, петиций  
шлют кверху, ветхие ночами и денми.

Их смерть нежна, напоминая вечность  
и даже чем-то — жизнь.  
Развоплотясь в лучи, расчеловечась,  
взошли... А вышло: это ж низ.

В овраге воздуха — сокровища и падаль,  
а вот и Сириус (как мы сумели — без?)  
берет свое сверло, гробокопатель,  
и выковыривает из бездн...

..Минтаку, Альнилама, Альнитака  
(аль в списке что-нибудь не так?)  
он посвящает ей, чуть выпуклее мрака,  
красавице, чей светится костяк.

Ее — по рыхлой черни — оттиск торса  
с хребтиной Млечного Пути  
сияя судорогой, к полюсу простерся  
уже неплохо за полночь, к 5-ти.

По жилам, но не кровь, — долготы льются;  
в торосах — ледовитая рука;  
приподнято плечо Аляской алеутской  
черно-прозрачного материка.

Сосцов ее: Соединенны Перлы,  
(верней, разъяты) в крапе звездных карт. . .  
Их полушария с ложбиной прерий  
кладоискателю и — открывать!

Он бы готов распеленать початок,  
но это — Юкатан. . . А там на страже тайн —  
Плеяд стожарные печати. . .  
Хотя и узок, а закутан стан.

Стан узок — статны в тех широтах бедра,  
где слишком Южен Крест,  
где самая-то Амазонка бреда:  
предутренних и мутных грез.

А ей — пускай, все это — можно. . .  
Вот и Дракон обвил веретена  
чилийских голеней. Скалиста ножка,  
что трогает: студена ли волна?

Извне мерцая нам (неужто мимо?) — стела:  
земное, впитывает прилипанье глаз. . .  
Они — ее заляпывают тело.  
На то и жизнь — космическая грязь!

. . . А встала ясная, зарозовела  
и в голубое мясо облеклась.

*апр. 1989*

## 2. ЗАТМЕНИЕ

...И днем приходит гневное, ночное,  
клокочущее: — Что-то тут не так, —  
неправедно, неверно учиненно! . .  
От человека — тень, от света — мрак.

От птицы больше остается — в Бозе,  
где вьется визг, и свист — широкоуст;  
но здесь летун лежит в парящей позе  
и в оперении, а череп выпит, поуст.

Я этого стрижа в сияньи вижу, в нимбе  
вкруг мертвой голой головы.  
И меркнет небо в полдень, ибо  
он — весть о всех: — О горе нам, увы!

Он карликом, летучим нибелунгом  
себя лучистой гибели обрек:  
на солнечный пойдя осадой, лунный  
свет застит свет, а льва — единорог.

Но те-то там, тотемы, зодиаки  
и светочи очей, а тут, смотри:  
не то, что гром, не то, чтобы во мраке,  
но нечто тихое увечится внутри.

А что и вне, в на целый Свет размахе,  
в пространстве душится глухонемом, —  
так это давится душонка в страхе.  
и ежится ее крылатый гном.

Он, видно, и лежит по-околу от окон  
на белом гравии (догадкою ожгло),  
что мчал от сумерек, и с гиком, и к Истоку  
сверкающему, — а влетел в стекло.

*сент. 1989*

## 3. КОМЕТА

Кто световую арию поет,  
как бы лучом крича, и даже резче, пуще —  
кто Солнцу-льву заглядывает в рот,  
о небо личико расплющив?

— Да, это та, которая, в кой век,  
из галактического фарса  
влетает как-то каблуками вверх,  
неважно, лишь бы не сорваться.

Всей гривую огней — назад, от скул —  
с какого блеска этот слепок,  
которому планета, что — ау? — аул:  
скопление искр, гнилушек склепа. . .

— От неотмирных тех звездо-богов,  
что числятся вверху под номерами, —  
дошвырнутая весть, взглядо-огонь,  
сестра тому, кто в камне умирает.

Он вправду гибнет, человеко-град. . .  
О, если бы в секунду световую  
миг мрачный обратить, пустить назад,  
гранитному, не дать погибнуть вскую!

Ведь мы вошли, как известно, в мысль о нем,  
в те несколько фасадов, 2—3 шпиля,  
взывающих: спасти. Не то — спалить огнем,  
к нему весь мир пришпиля.

А тут-то грудью и в-, не знаю что, — кишлак,  
в полуподвал, в подслеповатость Рая,  
она выматывает пук светящихся кишок,  
себя о сорный воздух раздирая.

И леденит извилины сквозняк,  
в умах напечатляя мету,  
опаснейший хвостокрылатый знак,  
зрак мрака, самопальную комету.

И вот, мы ждем: с уже заумных сфер  
сошедшая для дела злого,  
жуть-птица, полу-Люцифер,  
не свалится ль огромным словом?

Да, свето-вопль, и — тоже — пыл,  
и вид, внезапно грянувший и грозный, —  
пророчество о нас:  
— Мы — пыль,  
пыль, ставшая на время грязью.

— Все тусклые, мы перетремся в смерть,  
по делу нам и почесть, да и впору...  
Но будет впрок: после-последний свет,  
когда орбиты рухнут в прорву.

Проглотит медленно-немотный взрыв  
и всех, и вся, и деву-взрывоносца,  
пустой припухлой вечностью покрыв.  
Но с надписью она вернется.  
«конец»

*Урбана, авг. 1989*

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Ксения Петербургская . . . . . | 3  |
| СПБ . . . . .                  | 5  |
| Прописи . . . . .              | 6  |
| Перо и кисть . . . . .         | 8  |
| Привал интеллигентов . . . . . | 10 |
| Зеркально . . . . .            | 12 |
| Держись меня . . . . .         | 13 |

### ***ЗВЕЗДЫ И ПОЛОСЫ***

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1. Полоса озерная . . . . .       | 15 |
| 2. Тот свет . . . . .             | 15 |
| 3. Звезда . . . . .               | 16 |
| 4. Большое Яблоко . . . . .       | 17 |
| 5. Индейское море . . . . .       | 18 |
| 6. У пожирателей лотоса . . . . . | 19 |
| 7. Лесная полу-полоса . . . . .   | 21 |
| 8. Полнота всего . . . . .        | 22 |
| 9. Милые Оки . . . . .            | 23 |
| 10. Полоса пустая . . . . .       | 24 |

### ***АНГЕЛЫ И СИЛЫ***

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1. Тихая молитва . . . . .    | 25 |
| 2. Евангелист Иоанн . . . . . | 25 |
| 3. Архангел Гавриил . . . . . | 26 |
| 4. Илья пророк . . . . .      | 27 |
| 5. Архангел Михаил . . . . .  | 27 |
| 6. Умная молитва . . . . .    | 28 |
| 7. Сошествие во Ад . . . . .  | 29 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Яшина веревочка . . . . .      | 31 |
| По живому . . . . .            | 32 |
| Поэту . . . . .                | 35 |
| Глаза в глаза . . . . .        | 36 |
| Абсурд с неприличием . . . . . | 37 |
| Троцкий в Мексике . . . . .    | 37 |
| На раскопе . . . . .           | 38 |
| Физиономии . . . . .           | 39 |
| Светла... . . . .              | 40 |
| Возврат . . . . .              | 41 |

## **ИМЕНА**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. Ефиму Славинскому . . . . .  | 43 |
| 2. Опыт Виньковецкого . . . . . | 44 |
| 3. Наставники . . . . .         | 45 |
| 4. Юрию Иваску . . . . .        | 46 |

## **РУССКИЕ ТЕРЦИНЫ**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Часть первая . . . . . | 48 |
| Часть вторая . . . . . | 60 |
| Часть третья . . . . . | 70 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Жизнь Урбанская . . . . .  | 82  |
| Отель . . . . .            | 87  |
| Четверо . . . . .          | 90  |
| Облики . . . . .           | 91  |
| Холмы иные . . . . .       | 94  |
| Бант . . . . .             | 96  |
| Поздние свидания . . . . . | 97  |
| Реки . . . . .             | 99  |
| Города . . . . .           | 100 |

## **ТРИ НОКТЮРНА**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 1. Ночь Иллинойская . . . . . | 104 |
| 2. Затмение . . . . .         | 106 |
| 3. Комета . . . . .           | 106 |



**Дмитрий Васильевич Бобышев** родился 11 апреля 1936 года в городе Мариуполе. Вырос и учился в Ленинграде. Был замечен Анной Ахматовой, поддержавшей его поэтическое дарование. Посещал кружки молодых поэтов, которыми руководили в разное время Давид Дар и Глеб Семенов. В 1959 году окончил Технологический институт, работал несколько лет инженером, затем редактором учебной программы Ленинградского телевидения. Первые стихи написал в середине 1950-х годов, первая публикация состоялась в самиздатовском журнале «Синтаксис» (1959 г.). После нескольких публикаций в советской периодике конца 1960-х годов стихи Дмитрия Бобышева печатались только на Западе, куда поэт вынужден был уехать в 1979 году. Первая книга стихотворений «Зияния» издана в Париже (1979). В 1989 году совместно с художником Михаилом Шемякиным издал в Нью-Йорке книгу «Звери св. Антония» (Бестиарий). В настоящее время Бобышев живет в США, занимается литературной и научной деятельностью, преподает русскую литературу в Иллинойском университете.

### ИЗ ОТКЛИКОВ

*Бобышев является одним из самых замечательных поэтов своего поколения.*

*Его ввела в литературу А. А. Ахматова, посвятившая ему стихотворение «Пятая роза».*

*Поэзия Бобышева метафизическая. Даже самые ранние его стихи напоминают псалмы, посвященные «ласковому и грозному» Богу. В них он ищет небесное в земном, а человек для него не только «вещество плюс божество», но и «частица умная, живая».*

*В более поздних стихах он славит блаженную Ксению Петербургскую, которая жила в 18-м веке и лишь недавно канонизирована Русской Зарубежной Церковью. Она для Бобышева является небесной покровительницей его родного Санкт-Петербурга, того города, который угадывается им в современном Ленинграде.*

**Настольная книга Русской литературы.  
Под редакцией Виктора Терраса.  
Изд. Йельского университета (США), 1985.**

Бобышев — один из ярчайших поэтов ленинградского созвездия; его переезд на Запад в 1979 году был предварен сборником стихотворений «Зияния», вышедшим в Париже. С тех пор его самым впечатляющим произведением стали «Русские терцины» (1977—1981 гг.), начатые в Ленинграде и законченные в Милуоки. Эта поэма представляет из себя горячий и горестный спор поэта с разногласием мнений о самой сути России, где чередуются ноты тревожных предупреждений, надежд, соблазнов и утешений.

В «Звездах и полосах», еще одной поэме, написанной на Западе, Бобышев нашел сильные образы, чтобы выразить свои столкновения с американской общественной, да и географической реальностью. Сам континент он видит в форме гигантской бейсбольной перчатки, а Ниагарский водопад, в отличие от державинской «алмазной горы», представляется ему горой падающего бутылочного стекла, — образ инфляции и потребительства...

В последних произведениях Бобышев сознательно снизил тон: вместо лирических разведок в область божественного, он написал несколько саркастически «охлажденных» стихотворений, включая размышления о переносе останков Шалыпина в Россию...

Американские поэты уже начали переводить Бобышева на английский, а он им платит тем же, переводя их на русский язык.

Дж. С. Смит. «Иное время, иное место». —  
Литературное приложение к газете «Таймс»,  
1987, 26 июня.

Особенно приятно поразило меня в стихах Бобышева его чутье русского языка, его отношение к слову не только как к кирпичику для построения стиха, но как к категории, имеющей самостоятельную ценность. Бобышев чувствует вкус и вес слова, — качество необходимое для поэта, не столь уж часто встречающееся.

Стихи его стали сильнее, убедительнее, творческая индивидуальность выявилась отчетливее. Наступила творческая зрелость... Творческие поиски поэта — продолжаются. Он не стоит на месте.

Вадим Шефнер, Санкт-Петербург,  
«Новый журнал», 1991, № 8.



Получилось так, что мой первый стихотворный сборник «Зияния» вышел в Париже, в издательстве ИМҚА — ПРЕСС незадолго до моего отъезда на Запад в 1979 году. А вторую книгу, которая была давно подготовлена, но не издана, неожиданно обогнала третья «Звери святого Антония», вышедшая с иллюстрациями М. Шемякина в 1989 году в Нью-Йорке.

Весь опыт пребывания на Западе за десятилетний промежуток, опыт поэтического «осваивания» новой жизни и осмысления моего российского прошлого вошел в эту вторую книгу, которую я назвал «Русские терцины и другие стихотворения». Композиционно она делится на три основные части. В первую вошли стихи, которые тематически можно объединить как воспоминания о родной стране и городе (их я всегда называл Россия и Санкт-Петербург) и как прощание с ними навсегда.

Третья часть посвящена реальностям и образам остального, открытого мира, — главным образом, Европы и Америки: рекам и городам, которые я увидел глазами не вполне или не во всем западного человека, — скорей, пришельца с иного, «того света». Некоторые стихотворения этой части, кстати, населены обитателями иных миров — звездами и кометами, ангелами и силами.



А середину сборника, его смысловое ядро, составляет как бы «книга в книге» — собственно «Русские терцины», единое произведение, состоящее из вступления и 90 специально изобретенных строф: терцинных десятистрочий. Терцинная форма продиктовала деление

этого объемного цикла на 3 главы, и, конечно, не случайно образ гоголевской тройки появляется уже во вступлении. Вообще все эти строфы посвящены феномену, который называется «русское», попытка осмыслить его разнобразные, порой неразрешимые и мучительные проблемы, глядя на явление как изнутри, так и извне, используя опыт западной жизни. Империя, моменты ее славы и бесславия, признаки агонии,

загадки культуры и обихода, болезненные точки национального сознания и многие другие темы, связанные с Россией, составляют тезы и антитезы многоголосого спора мнений, содержащегося в каждой строфе. Спор не завершается окончательным выводом, но почти всегда ему придается неожиданный поворот или новый ракурс. По существу, все произведение является умозрительным диалогом автора со своей страной, но одновременно это и психоанализ его русского «мы».

*Дмитрий Тоббышев*